20 коп. Индекс 70668

ISSN 0132-2095. Б-ка «Огонек». 1990. № 40. 1—48.

БИБЛИОТЕКА



ISSN 0132-2095

№ 40 1990



Владимир **ТУРБИН**

ПРОЩАЙ, ЭПОС?

МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 40

Издается с января 1925 года

Владимир ТУРБИН

ПРОЩАЙ, ЭПОС?

ОПЫТ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОЖИТЫХ НАМИ ЛЕТ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1990

Владимир ТУРБИН

Владимир Николаевич Турбин родился в 1927 году в Харькове. В 1950 году окончил филологический факультет МГУ, еще через три года — аспирантуру. Кандидат филологических наук, с 1953 года — преподаватель кафедры истории русской литературы МГУ. Автор книг: «Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Об изучении литературных жанров» (1978), «Герои Гоголя» (1983) и многих статей по проблемам классической и современной литературы; с 1950 года печатается в «Комсомольской правде», «Литературной газете», «Литературной России», «Советской культуре» и в журналах «Аврора», «Дружба народов», «Знамя», «Искусство кино», «Новое время», «Новый мир», «Огонек», «Октябрь», «Смена», «Юность».

Статьи В. Н. Турбина переводились на английский, французский, немецкий, испанский, португальский, итальянский, польский, чешский, греческий и финский языки.

О PUUKKO, О СТЕРЕОТИПЕ ВРАГА, О ДОНОСАХ И ШМОНОМАНИИ

— Та-а-ак, а где у вас финский нож?

— Финский нож? — говорю.— Чего нет, того нет; знаете ли, не обзавелся ножом, ни к чему мне.

Но чиновник не верит. Вкрадчивый и какой-то вертлявый, он уселся напротив меня, vis-à-vis; не уйду, мол, пока не выложишь.

— Вы по-честному мне, как отцу родному, скажите...

Бормочу, что отца, инженерного офицера, прошедшего три огромных войны, я давно схоронил, что хорош он был или плох, но другого отца мне не надо, не затем я с семьей, добросовестно проработав три года в Финляндии, прибыл в Выборг. А таможенник сердится; тут, по-моему, властно орудует неотвязный стереотип: Финляндия — финка.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
Ничего, родная! Успокойся...

Для Есенина финский нож — это нечто кошмарное, тревожная греза матери, неотъемлемая принадлежность притонов. Но в Финляндии финку, puukko, вы можете купить в огромном универмаге, в киоске типа наших киосков «Союзпечати», на рынке в любом городке. В пересчете на наши деньги рубля за три, хотя, если puukko побольше и орнаментом изукрашен, то доходит и до десятки. И при этом финны почему-то не стремятся всаживать друг другу под сердце смертоносные лезвия: за годы, с ними проведенные, я подобного не видел, о подобном не слыхивал.

Понимаю: у нас репутация финки совершенно особенная; финский нож — опоганенный вариант благородных кинжалов, кавказских и прочих. Те — возвышенны, драматичны.

Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал,—

вспоминал, как известно, Пушкин. А Лермонтов даже уподоблял кинжалу — не финке же! — слово, стихи поэта. В общем, кинжал благороден, священен. Он идеологичен. Финка же вульгарна и низменна; и не стал бы я связываться с нею уж хотя б потому, что давно научился я ощущать своеобразную поэтику, каждой вещи присущую: в каждой вещи идея воплощена, и в идее финки есть что-то отталкивающее. Да к тому ж и закон: финнам можно, а нам нельзя. Есть запрет на ввоз puukko, так уж нечего тут рассуждать.

— Не хотите вы в мою лояльность поверить,— увещевал я таможенника,— так поверьте, что просто не стал бы я карьерой на старости лет рисковать. Обнаружили бы у меня puukko, составили б акт. То да се, член партии, преподаватель университета и холодное оружие протащить попытался... Скандал же!

Но не внял таможенник. Все переворошил: поползли из коробок, из чемоданов детские штанишки и платьица, игрушки, исподнее, мало ли чем за три года разжились. Появилась на свет и дубленка, венец мечтаний всех лиц, командируемых за рубеж. А ножа все не было, не было, и почудилось мне, что любимая кукла дошкольницы-дочки, нервозно отброшенная в угол купе, взирает на таможенника ехидно, даже с сарказмом. Он ушел, лязгнув дверью, à l'anglaise, не попрощавшись ушел: вероятно, обиделся. И всплывает интереснейшая социально-психологическая закономерность: подчинение людей стереотипам, создаваемым... ими же. Уж не стали ли мы снова язычниками какими-то, повернув историю на тысячу лет назад? Стереотип, это ж идол. Поначалу он незрим, умозрителен, но он рвется к материализации. К воплощению рвется в ком-то или же в чем-то: в человеке, в якобы совершенном человеком деянии. В ситуации. И тогда стереотипы оказываются сильнее реальности, достовернее фактов.

Изощренная система стереотипов угнездилась в сознании выборгского таможенника: человек, возвращающийся из Финляндии, должен где-то припрятать финку, а таможенник обязан ее найти. Это мини-стереотип. Но проглядывал и другой; я назвал бы его стереотипом ... обыска, стереотипом обнаружения тайника. Я прошу извинить мне вульгарность, но вульгарное словцо обладает порою выразительностью особенной. В словари XXI века новый Даль, новые Ушаков или Ожегов непременно включат «лагеризмы», лексемы, пришедшие в общенародную речь из тайного быта лагерей или тюрем: обыск — «шмон» (и глагол образовали «шмонать» — обыскивать). О стереотипе шмона я поделюсь наблюдениями.

У истоков нашей литературы — «Ночной обыск», поэма Хлебникова. Замечательна запечатленная в ней особая радость, радость вторжения в чужую интимную, сокровенную жизнь, в ее закоулки, причем вторже-

ние это легализовано и осуществляется оно от имени силы, умноженной на закон. Обыскивающий — всегда победитель, обыскиваемый же повержен, разоружен (при обыске первым делом стремятся найти хоть какое-нибудь оружие). Вломившиеся в дом моряки находят притаившегося белого офицера и тут же разоблачают его, причем Хлебников первым из всех наших писателей и поэтов показывает слияние, единство двух акций: разоблачить, то есть выявить «классовую природу» врага, его «социальную суть», и раздеть его — уже безо всяких метафор, буквально.

— Рубаху снимай, она другому пригодится,
В могилу можно голяком.
И барышень в могиле — нет.
Штаны долой
　　И все долой! И поворачивайся, не спи —
Заснуть успеешь. Сейчас заснешь, не просыпаясь!

Идеальный исход, финал обыска — расправа: убийство разоблаченного и в буквальном, и в переносном смысле И в одном лишь эпизоде поэмы предсказан и разгул разоблачений, и обысков тридцатых годов, и сла-а-абенький отзвук их в действиях вертлявого таможенника на станции Выборг: он тоже жаждал разоружить меня и тоже расшвыривал по купе разную одежонку: и рубахи, и штаны, и дубленку.

Неожиданное продолжение традиции Хлебникова появится в жутковатых рассказах Зощенко. Обысков, правда, там нет; но люди там сплошь и рядом разгуливают по улицам городов нагишом; это раз-облаченные люди, как бы воплощающие собой некий конечный идеал тоталитарного государства: разоблачить всех, всех до одного, до последнего. Великолепна сцена и у Булгакова, в «Белой гвардии»: ловко спрятал домовладелец Лисович, Василиса, сокровища, ан бандюги-то их углядели, нагрянули с обыском при фальшивом мандате каком-то, и поминай как звали. И в романе «Мастер и Маргарита» по доносу выходцев из ада производится шмон, обыск у управдома: глядь, валюту нашли. Бесконечны обнаружения тайников и в детективных романах, да и в документальных балладах о тех же таможенниках то и дело оказывается: почувствовал что-то неладное, обнаружил, предотвратил.

Свято верю в доподлинность этих баллад. Восхищаюсь таможенниками, которые спасли для народа хитроумно запрятанные произведения живописи или выявили целый контейнер поганых наркотиков. Я читаю о них, пламенея предписанным мне восторгом. Читать-то читаю, но к тому же я еще и литературовед, и профессия моя ныне включает в себя и обязанность размышлять об эстетике социального быта, хотя в этом аспекте он не рассматривался и рассматривать так его будут не скоро.

А социальный быт эстетически значим, и события последнего времени обнаружили это, я думаю, явственно: стереотипы характеров и стереотипы своеобразных сюжетов, жанры, сложные метафоры, по-

стоянные эпитеты до того, как увековечиться в изваянии, в кинофильме или же в книге, обретя в них художественное завершение, возникают в окружающей нас повседневности, определяя наше к ней отношение.

... Были времена —
прошли былинные.
Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей, —

пророкотал Маяковский, открывая свое «Хорошо!». Что ж, тогда, в 1927 году, его декларация, возможно, и была правомерна. Но уже двумя-тремя годами позднее совершился перелом, который и я не могу не назвать великим. С точки зрения экономики был он велик. С точки зрения политики. И эстетики тоже: началась э-пи-за-ци-я общественного сознания; и еще через несколько лет эпическое мышление овладело умами настолько властно, что выбраться, выкарабкаться из него мы пытаемся только сейчас. Да и то не все и не сразу: переосмысление поведенческих жанров и жанров речи, изживание идолов-стереотипов — процесс трудный, для многих мучительный. Человек, изъятый из эпоса, чувствует себя обездоленным. И растерянным тоже. Он не верит, что это всерьез. Ему хочется обратно, в мир, величие коего очевидно так же, как очевидны враги, на сие величие посягающие. Представим себе Илью Муромца, даже просто рядового дружинника из былин, оказавшегося вдруг... в запутанном мире «Преступления и наказания» Достоевского. Возопил бы он? Мол, да избавьте же вы меня поскорее от сложности, от невнятности, от обнаженности теснящихся здесь отовсюду проблем, нерешенных вопросов и нравственных сложностей! Не хочу я ничего переосмысливать!

Но такое переосмысление все же идет; и для меня, для литературоведа, оно и есть гарантия необратимости перестройки: загнать массы, которые освободились от эпоса, в этот тип мышления, изживший себя, все-таки уже не-воз-мож-но. В крайнем случае будут притворяться. Но тогда, на пороге тридцатых, не притворялись: мышление в стиле и в категориях эпоса было социально обусловлено и социально насущно.

Связи жизненных жанров с производственными отношениями, разумеется, существуют. Они носят фундаментальный характер. Выявление их требует чрезвычайной тонкости мысли, грациозности логики, диалектики. Ни одним из сих качеств похвалиться я не могу, буду я грубоват и прямолинеен. Но я вижу бесспорное: индустриализация сформулировала социальный заказ на ... ги-гант-ско-е, а с гигантского эпос и начинается. И заводы-гиганты начали строиться, а совхоз под Ростовом, у Сальска, так и назывался: «Гигант». Для совхоза оно, может, и допустимо, хотя здесь потенциально таился и ужас: гигантское неподвластно умишке простого смертного; охватить гигантское взором в силах только ги-

гант же. А гигантов не может быть много, гигант уникален. Нет, гигантское принципиально недемократично. А гигантомания нарастала: инда спичечную фабрику наименовали «Гигантом», хотя спичка-то — нечто махонькое, и представить себе гигантскую спичку можно только в порыве сугубого эпического экстаза. Оперировали гигантскими массами: миллиарды и миллионы тонн, киловатт, гектаров, рублей и ... людей.

Люди моего поколения пережили становление эпоса, пережили его кульминацию, ею, как нетрудно догадаться, была Сталинградская битва, а потом, конечно, победа. Но после 1945 года эпос пошел на спад. Он поддерживался лишь внешне, административно.

Расшатанный в шестидесятые годы, он и далее был культивируем чисто искусственно: честь и слава солдатам и матросам Малой земли, но сражения, когда-то гремевшие там, лишь ценою насилия над реальностью могли обрести освещение в духе «Илиады» Гомера. Эпос требует простора, чиста-поля, безгоризонтной шири; но и освоение целинных земель все-таки не тянуло на эпос. Тут недоставало как раз чего-то едва ли не прямо противоположного: романного, аналитического начала, которое проникло бы на все уровни действительно исторического деяния, от почвоведения до общественной психологии. Но поди сломай испытанную, импонирующую участникам разыгранного вживе эпического спектакля традицию эстетики социального быта! Четверть века так называемых застойных явлений — четверть века насилия над нарождавшейся новой эстетикой. Однако инерция эпоса — огромная сила, и отсюда — опять-таки гигантские прожекты поворота северных рек на юг, орошения их живительной влагой неоглядных просторов: проект века, не меньше! Рудименты эпоса — дебелые административные здания, не дома, а палаццо, дворцы культуры, рестораны на тысячу мест. А внутри нас, в человеке, в сознании их сколько осталось! Жажда слышать откуда-то сверху лишь непререкаемое, авторитарное слово и такое же слово изрекать с трибуны, с кафедры вниз; пресловутая тоска по «хозяину»...

«Ни былин, ни эпосов...» Оно верно, еще в первой половине тридцатых годов моего любимого старшего брата — после стал летчиком и погиб он в конце войны — волокут к директору школы; на вопрос учительницы о том, что он читает дома, он спроста ответил: «Былины». А былины-то монархичны и полны религиозного мракобесия: там то князя Владимира славят, то кладут кресты, да по-писаному. Вызывают к директору маму, мама что-то лепечет, оправдываясь. Но уже в 1935 году былины спасает «Правда»: Илья Муромец возвращается к людям добрыим. Эпос входит в живопись, в литературу, в кино. «Витязь в тигровой шкуре», армянский «Давид Сасунский», наше «Слово о полку Игореве»,— этот эпос в прекрасных изданиях и в отличном актерском исполнении вдруг низринулся на нас светозарным потоком. Но

беда: древнейшие творения русского, грузинского, армянского гения обретали значение эталона, канона, государственно предписанного типа мышления и к тому же типа е-дин-ствен-но-го.

Эпос требует ясности: непогода, так уж непременно гроза; вёдро, так уж солнечным светом все залито. И ясны отношения между людьми: равновесие в мире отцов и детей; друг, так друг, а уж коли враг, так какой-нибудь Калин-царь, который даже сам себя, как известно, именует «собакой». Знает эпос и военную хитрость: троянский конь и доверчивость, погубившая защитников легендарной фортеции. Фигура хитрого врага сообщает эпосу иллюзию полноты, всестороннего овладения миром: эпос видит и скрытое под землей, прозревает он подкопы, тайные ходы. Возникает стереотип всепроникающего врага, хитреца, норовящего обмануть благодушных. Образ «пятой колонны», тайной агентуры фашистов, осаждавших республиканский Мадрид, эстетически родствен коню «Илиады»; и с высоких трибун возглашали, что врагов надлежит выискивать не там, где работают спустя рукава, а средь тех, кто старается работать получше: так враги маскируются. Хорошо, изобретательно работать становилось опасно, даже просто школьником-отличником быть не стоило.

Говорят, что в тридцатые годы террор не был однонаправлен — сверху вниз, директивно. Я согласен, и я помню, как волны истерики поднимались и снизу. Подвизаться в роли героев эпоса было очень удобно: мы вообще-то прекрасны, но на нас посягают зловещие силы извне. Их отыскивали в прожитом времени: попы, белогвардейцы, помещики, а впоследствии всех их вытеснили уже совершенно абстрактные «пережитки капитализма». Источалось зло и из чужого пространства: враждебное нам окружение гнало к нам троянских коней табунами, стадами. Их ловили, потрошили, разоблачали. Но всех ли? «Враги есть, злобствуют на меня, ковы строят, как бы погубить»,— этими словами героя «Обломова» Гончарова определялось отношение к жизни. И было: страш-но.

«Абсолютная власть становится слишком страшной, когда она сама испытывает страх перед окружающим»,— за сто лет до событий тридцатых годов записывал французский путешественник-литератор маркиз де Кюстин. Его книга «La Russie en 1839», «Россия в 1839 году», в сокращении была издана на пороге этого достославного времени издательством Всесоюзного общества политкаторжан («Николаевская Россия», М., 1930). Непонятно, как она удержалась в библиотеках: тираж в 4000 можно было незаметно убрать, уничтожить. Но уничтожили общество бедняг-каторжан, а изданную обществом книгу впопыхах не заметили, и читатели, передавая ее по цепочке, как бы переговаривались: один одно подчеркнет, другой другое. Кто галочку поставит, кто крестик, а кто и восклицательный знак на полях. И вокруг книги словно хор голосов составлялся, хор тех, кто написанное о России столетней давности относил к современности: было жуткое сходство. И не только сходство

деталей, а сходство жанра: социального, жизненного жанра николаевской России и жанра, который строили неведомые читатели книги. В первые десятилетия XIX века эпос в чем-то соответствовал исторической реальности, например, великим битвам 1812—1814 годов. А в наш век право государства на эпос подтвердили битвы 1941—1945 годов: как же эпосу было не восторжествовать! Но одновременно он и не был уверен в себе. Презирая все маленькое, будь то, скажем, единоличный крестьянский двор или жалкая частная мастерская, он боялся всего неясного. Всего, что было чревато раздумьями. Защищая свое монопольное положение, он выталкивал из жизни многозначное суждение, слово. Трудно уловить закономерности в его дикой деятельности, и все-таки характерно: его главными врагами оказались нетрадиционная музыка (Шостакович), отвлеченная лирика (Пастернак, Заболоцкий, Ахматова). Идеалом же были эпическое сказание, монумент, архитектурный ансамбль типа Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, ныне ВДНХ, или башни проектируемого Дворца Советов, плакат.

На все это великолепие и посягали полчища вездесущих врагов. Ковы их имели целью подорвать единообразный ритм социальной жизни, сбить с толку; и ругательством, с которого начинались всевозможные разоблачения, было грозное слово «путаник»: ясность яростно защищала себя от поползновений нарушить ее. На такие поползновения отвечали доносами. А донос обладал изумительным свойством: свести к ясности все сколько-нибудь неординарное, выходящее за рамки установленного режима.

На меня писали немало доносов. Их творцы — из скромности, как я полагаю,— пожелали скрыть свои имена, и я знаю лишь некоторых из них. Не могу забыть первого. Десять (!) годиков было мне, благонравному мальчику, когда, помнится, в притихший наш 3-й класс «В» вошла строгая завуч. Мы вскочили. Она разрешила нам сесть, оглядела нас, остановилась на мне и вызвала меня в коридор. Приказала идти за ней, по дороге шепнула:

— Говори только правду, понятно? Только правду, тебе поверят! — и она втолкнула меня в кабинет молодого рабочего парня, его звали в школе по имени: комсорг Коля.

Коля был со «Станколита», большого завода. Завод шефствовал над школой: устраивал экскурсии в цехи и, видимо, подбрасывал какие-то средства. Коля походил на Павла Власова из «Матери» Горького: плотно сбитый, приземистый, он расхаживал по школе в косоворотке, в потертом, но опрятном костюме; отутюженные брюки были вправлены в сапоги. Кареглазый; взгляд суровый, какой-то нахмуренный взгляд. Мрачноватый. Мне, только что в пионеры торжественно принятому, он, комсорг, казался существом не от мира сего, олимпийцем. Напряженный, недоумевающий, я послушно трусил за завучем. Я не знал, что надо

мной тяготеет обвинение, без преувеличения, грозящее смертью. В чем же? Теперь формулирую так: в посягательстве на величие эпоса.

Дней за десять — двенадцать до вызова к Коле мы бежали на урок физкультуры: в майках, в трусиках, с четвертого этажа на второй, там был зал. Впереди несся я, а за мною — Шурка Рутицкий, неуклюжий, тщедушный. По пути, на лестничной площадке, красовался плакат: тороватая молодайка колхозница, широко улыбаясь, обняла здоровенный сноп, а на дальнем плане — колонны пыхтящих тракторов. Дело шло к 8 Марта, и колхозницу прислали в школу по какой-нибудь разнарядке. Вероятно, поутру колхозницу пришпилили наспех: кнопки, на которых держался плакат, выпали из стены, и молодка висела криво, того и гляди упадет.

— Слушай, Шурка,— остановился я,— давай-ка плакат поправим. Помоги мне!

Шурка, шлепая несоразмерно большими, на вырост, тапочками, переминался с ноги на ногу уже рядом со мной. Я поднял упавшие кнопки, попытался вонзить их в стену, но жала кнопок загнулись, из стены и последняя выпала, и колхозница плюхнулась на пол. Верещал звонок. Я свернул плакат в трубку, аккуратно поставил в угол.

— Ладно, пусть пока постоит. А будем идти с физкультуры, разживемся кнопками и повесим плакат как надо.

Шурка:

— Ладно.

Мы прилежно физкультурили: прыгали, карабкались на шведскую стенку; а когда мы, возвращаясь, поднимались обратно, поселянка-колхозница, уже прочно пришпиленная, возвышалась на прежнем месте: обошлось и без нас. Это было 6 марта. А потом, примерно 15-го: очень строгая дама-завуч ведет меня к Коле. И — темная келья: за столом комсорг Коля, перед ним, на краешке стула... Рутицкий. Я здороваюсь с Колей, а он мне — угрюмо, отрывисто:

— Тут Рутицкий утверждает... Он сигнализировал, значит, что ты в школе плакаты срывал. Перед праздником. Было дело?

Повторяю: мне десять лет. И Рутицкому де-сять! И Рутицкий красен, а под очками глаза. Белые какие-то глаза. Неподвижны. Застыли: глаза начинающего подлюги, стукача-добровольца.

— Бы-ло де-ло? — комсорг. Почти так же, как полвека спустя: «Та-а-к, а где у вас финский нож?»

Подсоберу когда-нибудь материала и труд небольшой напишу о поэтике политического доноса, ибо знаю, что и тут поэтика есть. Например, донос требует превращения единичного во множественное, и ему показано только мно-жест-вен-но-е число. По законам этой поэтики полуупавший плакат превратился в «плакаты», а затем уж и мое благонравное усердие — в буйство политического феминофоба, слоняющегося по школе и крушащего один плакат за другим. Шурка создал об-раз вра-га. Не сказал бы, что творение его было мечено печатью таланта. Стерео-

тип принципиально бездарен, Шурка действовал по шаблону. Почему? Я не знаю. Да, он был неудачником, над которым с беспардонной мальчишечьей жестокостью в классе зло потешались, хотя я-то как раз за него заступаться порою пытался. Не за это ли он мне и мстил? Было тут не от Достоевского что-то, а от Леонида Андреева скорее: извращение, не гонителям напакостить, а, напротив, простаку-покровителю. Или просто в моем лице мстил он всем? Человечеству, роду людскому? Ох, не знаю: не Достоевский я, и даже до Леонида Андреева мне, видать, далеко.

— Нет,— отрезал я,— было не так!

И откуда твердость взялась? Рассказал я о плакате, о кнопках. О том, как мы вместе свернули плакат в аккуратный рулон и хотел я... Коля даже и не дослушал. Перед ним лежал номер «Правды» с передовицей, целью которой было как-то утихомирить охватившую массы истерику; террор никогда не бывал монотонным, он знавал и своеобразные контрапункты: то крушить, то одергивать сокрушающих, щеголяя даже и неопределенными либеральными фразами. И мое поколение помнит: в десятых числах марта 1938 года «Правда» вдруг заговорила о клеветниках, о компрометации кадров.

Коля поглядел на исчерканную красными карандашными пометками газетную полосу, перевел мрачный взор на юного пионера-доносчика, громыхнул:

— Понимаешь, Рутицкий? Твой товарищ хотел нашей школе помочь, устранить недостаток, а ты... Кто же ты теперь, Александр Рутицкий, выходишь, а? Получается, что ты кле-вет-ник! Ты тут что же задумал, кадры компрометировать? Подрывать единство наше задумал, а? Так тебе, Рутицкий, не удастся посеять рознь в наших сплоченных рядах. Не у-даст-ся! Не выйдет из этого дела у тебя ни-че-го!

Как докладчик, который, произнося громкую гневливую речь, все же сверяется с заранее заготовленным текстом, Коля грозно глядел на Рутицкого, но поглядывал и в газету. Коля крыл Рутицкого массивными штампами, и это было самым мудрым выходом из критической ситуации. Дальше было о том, что весь дружный коллектив нашей славной 238-й школы, руководимый большевиками «Станколита», сплоченными рядами устремится в светлое будущее и при этом — Коля снова бросил взгляд на газету — с презрением отвернется от пытающихся подорвать наше нерушимое единство Рутицких и иже с ними. Коля явно переживал порыв вдохновения, а Рутицкий ерзал на стуле, краснея, бледнея. Я же... Много-много передовиц довелось мне прочесть впоследствии, но никогда сплошь составленный из трафаретов их слог не звучал для меня такою божественной музыкой, как тогда, в хмурых мартовских сумерках.

А Коля иссяк. Отложил газету и сказал по-человечески просто:

— Я, Рутицкий, твой табель смотрел. Ты по арифметике еще тянешь кой-как, а по письму у тебя отставание, да. И по чтению ты хромаешь! — Подумал, вздохнул.— Вы, братва, ступайте, учитесь. Нам Ильич

что велел? Нам Ильич велел учиться, учиться и учиться. И уж ты, Рутицкий Александр, по письму подтянись. Ты же...— Коля как-то глубоко-глубоко посмотрел на меня,— ты, брат, правильно реагировал на нашу недоработку, только в следующий раз не самовольничай. Ко мне зашел бы, у меня, вишь ты, этих кнопок навалом, мы с тобой плакат укрепили бы. Ладно, топайте, звонок-то звонит уже.

И потопали мы. И что же? Бил я Шурку Рутицкого? Уж хотя бы не разговаривал с ним? Стал я мрачным антисемитом? Да нет же! Через год, перейдя в четвертый класс, я играл с ним в шахматы, и, правда без особой нежности, мы бок о бок прожили еще два-три года. А потом нас разлучила война.

Впрочем, то, что было, не так-то уж, наверное, интересно. Но что было бы, окажись на месте Коли другой комсорг, трусоватый и малодушный? И опять-таки — «Правда», хотя, как мне кажется, Коля выкрутился бы даже без хлесткой передовицы, но спасти меня ему было бы намного труднее. Коля шел на отчаянный риск. Я не исключаю, что был он связан с тогдашним НКВД. Но принадлежал он к тем незримым героям, которые пытались если не удержать машину террора, то хотя бы как-то ослабить ее братоубийственный ход. Знаю, были там и такие!

Не будь Коли, что было бы? Выкосило бы большую семью — я влачил бы детство и отрочество где-то в колонии; в рудниках угасли б родители. Брата вышибли б из авиационного училища: хорош летчик сталинский сокол, у которого младший брат, пробравшись в ряды пионеров, срывает со стен политические плакаты! А кто в Киеве был, может, помнит: там на площади Славы, у трепетного Вечного огня, первая по правую руку могила Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта. В украинском правописании: «Дмитро Іванович...» Для кого он Дмитро Іванович, а для меня дядя Митя. В 1938 году командиром он был. В Академии курс наук проходил, в Ленинграде. Но недолго бы и он штудировал бы там математику да баллистику: полетела бы шифровка на Литейный проспект, и не стало бы будущего героя, разве что кайлом на Колыме помахал бы, на веселом морозце, в компании доблестных командиров корпусов и дивизий. И все это Шурки Рутицкого было бы творчество.

Заодно уж томит меня любопытство: для того чтобы открыть уголовное дело, доносу, полагаю, надлежит фигурировать в письменном виде, а писал мой одноклассник и впрямь ужасающе. Но тут, стало быть, все же писал? На тетрадном листочке, макая перо в чернильницу, близоруко щурясь и ляпая кляксы? А с ошибками как? Поглядеть бы: хранятся же где-то все эти листки.

А кто спас? Рабочий. Комсомолец или же, скорее, молодой член партии, станколитовец и, возможно, уполномоченный НКВД. Целый мир одним махом уничтожил бы Шурка, а Коля-то этот мир сохранил.

Что ж, спасибо тебе, голубчик! Мир праху твоему, если упокоился ты где-нибудь в братской могиле: такие, как ты, по тылам не отсижива-

лись. И долгих лет тебе, если ты, пенсионер, участник войны с орденскими планками в четыре ряда, нянчишь внучат, забиваешь козла в каком-нибудь скверике и сейчас побредешь в «гастроном», получать там со двора продуктовый заказ — колбаска копченая, шпроты.

А стереотип обнаружения тайного в явном, комплекс троянского коня, то, что я называю поэтикой и даже эстетикой обыска... В одночасье мы от него не избавимся, потому что обыск странным обаянием каким-то влечет к себе. Не от кладоискательства ли тут что-то? В 1929—1930 годах кулаков обыскивали: находили зерно, причем опять-таки якобы тоннами находили. Находили золото, доллары, винтовки, Бог знает что.

Обыск втиснулся в наш обиход уже и в иносказательном его толковании. И научные дискуссии превращались в некий обыск докладчика, и статьи, и книги научились читать с усердием лагерных надзирателей, профессионально ведущих шмон: такой-то «протаскивает» что-то нехорошее, идеализм или, скажем, мальтузианство какое-нибудь. А теперь входит в моду масонство. И не далее чем в прошлом году был я свидетелем диспута, в ходе коего мой коллега, человек в немного старомодном пасторски чопорном черном костюме разглядел масонство в крохотном докладе другого коллеги о «Евгении Онегине» Пушкина: масонство и все тут! Аж до нервной аллергии коллега коллегу довел, до резкого обострения язвенной болезни желудка: о, великий Шурка Рутицкий! О, бессмертная Лидия Тимашук, усмотревшая в профессорах-эскулапах отравителей, подкупленных всеми разведками мира! О, шмономания!

Мы прощаемся с эпосом. Оказаться в мире куда более свободного, альтернативного романного мышления интереснее. Априорной ясности эпоса, его аксиомам противопоставляются теоремы, и герой романа непременно должен доказывать свою правоту, провоцировать нас на анализ его воззрений, поступков.

Ён как в сторону махнет — будет улица,
А в другую отмахнет — там переулочек.

И в Василия Буслаева, и в Гектора, и в Илью Муромца или в Тараса Бульбу я обязан верить безоговорочно; и их нравственная правота, и их гиперболические ратные подвиги не допускают сомнений. Но даже с такой героиней романа, как кроткая пушкинская Татьяна, не спорить нельзя.

А враги? Стереотип врага, коварного, затаившегося,— стереотип из устойчивейших. Но и враг при романном воззрении нашем на окружающее понуждает к анализу: изменяется методология мышления, вместе с ней — и методология устроения общественной жизни.

Был такой историк и теоретик литературы — Борис Грифцов. И его забытая ныне книга «Теория романа» завершается утверждением:

> Роман живет контроверзой: спором, борьбой, противоположностью интересов, контрастами желанного и осуществимого.

Этот вывод сделан в 1927 году на, казалось бы, далеком от нас материале древнегреческого романа и романа западноевропейского. Но профессионально мыслящий историк литературы, рассуждая даже и о древнейших древностях, никогда не устранит себя от веяний его современности; и латентная, скрытая актуальность неизменно будет подсвечивать его труд.

Что сказал историк и теоретик романа как раз в том году, когда поэт Маяковский пытался уверить себя в невозможности возрождения эпоса? В сущности, он выразил ностальгию по вытесняемому из жизни романному мышлению — дискуссионному, альтернативному, размышляющему.

> Эпохи без романа бывали, они возможны и в будущем. Осознав свою мощь, свое право на осуществления, человечество может вернуться к эпосу...—

утверждал ученый, как бы споря с поэтом.

И вернулось человечество к эпосу. Правда, не все человечество, а лишь часть его — в одной, отдельно взятой стране. Но зато уж здесь-то к эпосу обратились с истинно русским размахом и с присущим русским стремлением и способностью доводить полюбившиеся идеи до nec plus ultra. До предела. До крайности: мало того, что эпос, эпическое начало стало почитаться высшим достижением эстетики, его принялись усердно внедрять и в жизнь: меру власти эстетических идеалов над душами и умами мы еще, несомненно, не ведаем.

А когда началось внедрение эпоса в жизнь?

В предварительных, в первых проблесках — сразу же после Великой Октябрьской: план монументальной пропаганды — уже чисто эпический план; и утыкать страну изваяниями революционеров минувших времен означало, что ей уже задан эпический тон, эпический стиль: изваяние, скульптура эпичны по природе своей. А борьба за единство партии? Запрещение фракций и группировок? То же, то же; и если изложить политическую программу в терминах эстетики и поэтики, явственно станет слышно: «Даешь эпичность!»

Нэп, конечно, все карты едва не спутал. Характерно, что именно тогда заложены были основы особой крамолы — крамолы романного мышления: возникали, складывались и формировались замыслы романов Михаила Булгакова, Андрея Платонова; но лишь малой их части посчастливилось реализоваться. А с конца двадцатых, тогда-то и началась прозорливо предвиденная теоретиком эпоха без романа: и мощь осознали, и в праве на осуществление самых грандиозных идей сомнений быть не могло.

Эпос все же уходит из жизни. Он уходит со стонами, обороняясь и пытаясь найти опору то в туманных воздыханьях о прошлом, то в национализме. Но это уже агония, и, как всякая агония, она оставляет тяжелое впечатление.

Да и жалко же эпоса: были в нем кошмары ГУЛАГа, но была в нем и всенародная радость 9 Мая 1945 года.

Мир свободного романа тревожен, и даль его с маху не различишь. Но пути назад не дано; и в романе, который, как я убежден, принялось слагать человечество, хоть и будет труднехонько, но страшно не будет. Так, точнее: не будет страха организованного, социально направленного.

А эпос на нем и держался...

1988

ВЛАСТЬ СЛОВА

Из дневника литературоведа-филолога

Из храма, из церкви Казанской Богородицы, что в Москве расположилась в Коломенском, коллега мой, канадский литературовед Даглас Клейтон выходит с лицом опрокинутым. Неожиданно быстро выходит, просто-таки выскакивает, хотя человек-то он обстоятельный, и если уж он заинтересуется чем-нибудь, то старается в явление вникнуть, всесторонне в нем разобраться. А тут отправился в церковь вникнуть в православную литургию — и тотчас назад. И на лице его, моложавом, но по нынешней моде украшенном бородой, которая делает канадца особенно привлекательным, на лице его — горечь недоумения. Опрокинутое, словом, лицо. И аж кубарем он по древним ступенькам скатывается.

— Что, Даглас? Неужели кончилась литургия?

— Да нет,— говорит,— не кончилась. Только, знаете ли, неприятно мне стало.— Даглас медлит, видимо, размышляя о том, не обидит ли меня, москвича, в Коломенское его пригласившего, резкое слово; и, позволив себе быть прямым, договаривает: — Противно! И пойдемте-ка отсюда скорее!

Идем по аллее, ведущей от церкви к Москве-реке. У Дагласа, по-моему, руки немного дрожат. Рассказывает: перед ним две девушки в церковь войти попытались. Лет по пятнадцать им. По шестнадцать. Школьницы или из ПТУ какого-нибудь, рабочие будущие. На личиках — должное благоговение, одеты вполне пристойно: не в брюках, конечно, а в платьицах, и, зная традиции, благолепно платочками повязались.

— А тут,— продолжает канадский профессор,— старухи у входа столпились. Да и так просто женщины, не старые, нет. Боже, как они на этих девчонок набросились! Они выгнали их, понимаете, выгнали. Ах, как это было некрасиво, жестоко! И какое же представление теперь сложится у девушек о христианстве?

Дошли мы до обрыва, что над рекою Москвой: лужайка, детишки щебечут, седенький дед в старомодном парусиновом пиджаке внучку у пушки XVI века поставил, фотографирует. Мистер Клейтон любуется на эту идиллию, а, чувствую, все-то не может остыть. Сокрушается, ахает: не только двум девочкам, а и ему, почтенному гостю нашему из далекой Канады, тетки-стражи, уж не стану искать эвфемизмов, плюнули в душу. Верит он в Бога или не верит, это его дело; но встали тетки на страже меж человеком и Богом да и решают, кому можно переступить порог, а кому не положено. Бюро пропусков при Боге?

А вообще откуда взялась тетка, проникнутая духом недоверия и враждебности, возвышающаяся при входе в какой бы то ни было дом казенного и общественного назначения? Она стала социальной необходимостью; и мы уже не замечаем ее, как не замечаем воздуха, которым мы дышим. Мы считаем ее само собой разумеющейся принадлежностью социального быта. И она стоит да стоит: словно тетка одна и та же, что в Москве, что в городе на Неве, что в Саранске, в Тобольске, в Стерлитамаке. Лишь чуть-чуть видоизменяется тетка: иногда — массивная, монументальная, с ярко выраженным преобладанием в ней мужского начала, «М» — изображения таких теток можно встретить в медицинских учебниках в разделах, отведенных патологии пола: ноги-тумбы, красные лапы, усики над верхней губой. Иногда же тетка бывает пожиже, так, старушка, одуванчик божий, сидит за конторкой, вяжет. Но тип неизменен. Неизменна и настороженная реакция на вошедшего:

— Вы к кому?

Или сразу:

— Гражданин, предъявите!

Что именно предъявить, не так-то уж важно. Вернее всего, разумеется, паспорт, гордым жестом прославившего его поэта Владимира Маяковского достать его из широких штанин (а лучше: заискивающе извиваясь, извечным жестом русского мужичка-простачка, ищущего поглубже запрятанный «вид», «бумагу», кротко пошарить где-то за пазухой). Но можно предъявить и еще что-нибудь: членский билет ССП, водительские права. Оплошаешь, оставишь все это дома, не робей, сойдет и квитанция на сданные в химчистку штаны, расчетная книжка, свидетельствующая об уплате за газ и электроэнергию, свидетельство о смерти кого-нибудь из родителей. Первичен тут жест: продемонстрировать гражданское смирение, робость, покорность.

Я так полагаю, что поставили тетку у входа в боевом 1918 году. Была она поверх могутного бюста крест-накрест, по-матросски опоясана пулеметными лентами, чуть поодаль стояла винтовка с веревочкой вме-

сто ремня. Потом винтовка сменилась наганом. Перед войной — пистолетом ТК, «типа Коровина». А затем, в последующие годы, огнестрельное оружие у тетки было изъято, а сама тетка отодвинулась на периферию замысловатой системы наших учреждений: у входа в архивы, в библиотеки, в НИИ и т. п. сменили ее розовощекие купидоны-милиционеры, у входа в ведомства более высокого ранга — демонического вида лейтенанты и старшие лейтенанты в фуражках с синим околышем. Тетушке пришлось потесниться: восседает у дверей гуманитарных корпусов МГУ, в подъездах редакций газет и журналов, таких, как «Советская культура», «Литературная газета». А «Литературная Россия» подобрала себе теток, соответствующих избранному ей направлению; богатырского склада тетки, былинные:

— Вы к кому?

— Гражданин, предъявите!

Вход — это же очень важно: вход — ворота, врата. Врата в некое заветное царство, в миры иные.

Языческая, античная мифология поставила у врат трансцендентных миров свирепого пса по имени Цербер.

Кроткое христианство доверило охранять вход в рай апостолу Петру.

В волшебных сказках на пути героя в дивное царство появляются злые собаки; а в реальности апостолу и собакам соответствуют часовые.

Часовыми, поставленными возле святыни, возмущался великий Пушкин: «Мирская власть». Тем не менее новая власть мирская укрепляла себя, создавая разветвленную систему часовых всевозможных типов и рангов. Поначалу они самолично проверяли у входящих мандаты, романтически накалывая их на штыки; затем от них ответвились бюро пропусков, и воссела в них та же тетка, но уже поинтеллигентней, в очках.

Цель бюро пропусков — надломить человека внутренне, духовно разоружить его. Поспешая в Радиокомитет, я прохожу двойной фильтр: интеллигентную тетку в бюро пропусков и купидона в погонах сержанта; тут уж квитанцией химчистки никак не отделаешься. И, пройдя этот фильтр, я чувствую себя усмиренным. Обузданным. Очищенным от социально греховных помыслов; например, ворваться в какую-нибудь аппаратную, включить микрофон, заорать: «Вся власть учредительному собранию!» Понимаю, что это бессмысленно, в аппаратных же нас только записывают на пленку, потом ее обрабатывают, урезывают; в лучшем случае через пару месячишек ее пустят в эфир. Но помысел все равно мог бы возникнуть. А после фильтрации испаряется он, исчезает.

Вход — начало общения: «Добро пожаловать!» — пишут. Однако, как говорится, мало ли что написано. Правдивее было бы написать давно и дружно отвергнутый нами призыв Достоевского: «Смирись, гордый человек!», И, смирившиеся, мы общаться идем:

со средствами массовой информации,

с наукой

и с государством.

А как общаемся мы друг с другом? На улице, в вагонах метро? В автобусах, троллейбусах и в трамваях? В магазинах? На рынке? А по нынешнему, по новому времени в храмах тоже или у входа под сень их? Сказать, что мы плохо общаемся,— ни-че-го не сказать, хотя и добавишь к сказанному, к уже написанному другими немалую толику наблюдений, облитых, как выразился когда-то поэт, и горечью, и злостью. Однако не ставлю своей задачей пополнить коллекцию случаев проявления словесной жестокости. Всего не расскажешь. Тут анализировать надо. Анализировать по-э-ти-ку наших повседневных общений: внезапных знакомств; вспыхнувших и тотчас же стыдливо погашенных взаимных симпатий; удачных и плоских шуточек, а больше-то все перебранок, раздраженных и, главное, пронизанных особенным духом дидактики, поучения. Причем поучать друг друга стало, мне кажется, отличительным устремлением москвичей. Именно москвичей: ни в Ленинграде, ни в Киеве, ни в Тбилиси, ни, скажем, в Вологде люди не поучают ближних своих с таким доходящим до сладострастия упоением, как в нашей столице. А в Москве поучают: не так одет, не туда ступил, слишком долго копаешься в кошельке. В магазинах самообслуживания подозревающие вперяются в сумки, в корзины, то и дело — самодеятельные обыски, шмоны. Впрочем, тут уже некие действия. Я же ограничусь посильным для меня анализом слов, и в истоках их попытаюсь проанализировать, ибо не устану я повторять: коль скоро по образованию и по зову души я филолог, то на все предстающее передо мною как фи-ло-лог я и обязан смотреть. И раз уж о церкви речь у меня зашла, с нее и начну.

Случай в Коломенском — капля, чашу терпения моего переполнившая.

Отметили мы 1000 лет христианства в России. Отпраздновали. Отзвонили угасшие, оскорбленные некогда литые колокола, те, которые уцелели. Отлетели в горние выси слова благодарных молитв. Пристойно прошли диалоги партийных лидеров и церковных иерархов; иерархи всех степеней снова и снова заверили люд честной в своем пацифизме и в том, что перестройку они всемерно поддерживают. Неподалеку от дома, где я влачу свои дни, в Царицыне, заложен был новый храм. Хорошо? Хорошо! Но прочь эйфорию, я с теми, кто за трезвый анализ.

Вспомнилось: и я наведался в храм. Вошел под своды. Стою. В памяти — опять-таки Пушкин, Лермонтов: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» И тут — аки шип змеиный:

— Гражданин! А, гражданин!

Оборачиваюсь. Лицо, искривленное язвительной злобой, в мерцании лампад и свечей оно действительно страшно. Из-под платоч-

ка — глаза-пятачки: тетка в платке, и какие-то медные у тетки глаза:

— Вы как стоите-то, а? Вы не в кино. Нельзя так. Бог, он все-е-е видит!

Ах ты, грех-то какой: оказывается, задумавшись, я руки за спину заложил. Каюсь: не-хо-ро-шо. Непочтительно. Но тетка, она же...

Всевидящий Бог меня, может быть, по неразумению моему да по присущей ему широте и простил бы; и я никогда не забуду, как однажды сказал мне великий философ-мыслитель, мой, смею думать, учитель М. М. Бахтин. Усмехнувшись мудрой своею ироничной улыбкой, по какому-то случаю он проронил: «Не надо представлять себе Бога каким-то... обидчивым». Врезалось это мне в память: и в самом деле, не надо. Антропоморфизм, навязывание Всевышнему наших преходящих эмоций,— тоже, наверное, грех. Но поди растолкуй это тетушке, что укараулила меня со своей теологией: она явно стала следить за мною, едва только переступил я порог. И, дождавшись неосторожного жеста, за который я всемерно приношу извинения и Богу, и ей, зашипела на меня с тем елейным злорадством, с коим праведники нынче вообще бичуют нас, погрязших в грехах.

То девчонки из ПТУ, то я, то еще кто-нибудь... Уж позволю себе напрямую: задушевные возвышенные литургии сплошь и рядом проходят под аккомпанемент змеиного шипа, обличений, подглядываний, рассматриваний. Юридически церковь от государства отделена. Но нельзя же отделить ее от многообразнейших форм и жанров общественной и государственной жизни. От быта. И дидактика обличений проникает туда, находя особенно благодатную почву, ибо там всего легче возомнить себя монопольным хранителем неких устоев, огрызаясь на их нарушителей. А среди просвещенных интеллигентов сложился и продолжает слагаться тип обретшего пути к спасению праведника, с грустновато-презрительной скорбью взирающего на прочих. Свою веру такие люди сделали пре-и-му-щест-вом, средством самоутверждения сделали. А дидактика из жажды самоутвердиться и проистекает.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые,—

рек когда-то еще один русский поэт, и воистину так и есть. Во всяком случае, для нас, для филологов, ныне время просто-таки бла-жен-но-е: политическое и духовное обновление открывает перед нами небывалую панораму соревнования стилей, жанров. Их рождения из повседневности и проникновения их в повседневность. Угасают или рассасываются одни жанры, пробиваются к жизни другие. Ситуация уникальная. И ходи, наблюдай. Вслушивайся, как призывал нас некогда Александр Блок,

в музыку революции, совсем приумолкшую было. Сопоставляй недавнее с наступающим. Строй гипотезы.

Полвека, если не более, слагался стиль той культуры, в которой мы жили. А культуры имеют свой стиль, в конечном счете е-ди-ный и для государственной жизни, и для жизни относительно небольших социальных групп типа учреждений, НИИ, и для быта, и для семьи. Переходя из среды в среду, он, конечно, варьируется; но в сущности он е-дин.

Мы жили в мире, где сознанием прочно владели преимущественно два жанра: во-первых, доклад и, во-вторых, фельетон. Были, кое-как, кое-где пробиваясь, разумеется, и другие; но господствовали они. Странно, но опять-таки именно массовость, всеобщая распространенность доклада мешала заметить его диктат; сей диктат как бы просто сам собой разумелся: доклад на таком-то съезде... на таком-то... таком-то. Доклад шел откуда-то сверху и доходил до самых низов. Политика, естественные и гуманитарные науки, искусство, все подчинялось уже сделанному докладу и с трепетом ожидало появления следующего. У студентов — доклады на семинарах; доклады делают на кафедрах, на ученых советах. На заводах и фабриках. В райкомах, в обкомах. Где их не делают?

И мудрено ли, что доклад проник в общественное сознание, на улицу, в повседневность? Здесь-то он, конечно же, трансформировался, но остался от него важнейший его элемент: призыв, лозунг, ибо доклад и есть развернутое, многословное обоснование лозунга, коим он по законам риторики и кончается: «Выше уровень... покончить... преодолеть отставание... догнать, перегнать...»

Фабула этих императивов медленно, но все же менялась: от повелений искоренить и вымести железной метлой уклонистов, формалистов, менделистов-морганистов, космополитов и бесконечное множество прочих нехороших людей до благодушных призывов за два-три года догнать Америку по производству мяса и молока. Доклад то швырял на головы слушателям угрюмые булыжники слов, то, даже немного кокетничая, приоткрывал какие-то отдушины, форточки, давая понять: на что-то можно еще и надеяться. Но суть не менялась: логократия, управление словом. Власть слова, на пороге революции предсказанная Николаем Бердяевым:

> «Слова имеют огромную власть над нашей жизнью, власть магическую. Мы заколдованы словами и в значительной степени живем в их царстве. Слова действуют как самостоятельные силы, независимые от их содержания. Мы привыкли произносить слова и слушать слова, не отдавая себе отчета в их реальном содержании и в их реальном весе. Мы принимаем слова на веру и оказываем им безграничный кредит... А в общественной жизни условная, но ставшая привычной фразеология приобретает иногда власть почти абсолютную. Ярлыки-слова — самостоятельная общественная сила. Слова сами по себе воодушевляют и убивают...

Всякая агитация в значительной степени основывается на владычестве слов, на гипнозе слов. Привычная фразеология скрепляется с инстинктами масс... Демагоги хорошо знают, какие слова нужно употреблять» («Слова и реальности в общественной жизни»).

Почтительно дополню философа-прозорливца: они, демагоги, сформировали гипнотизирующий своей простотой и логичностью стиль доклада. Доклад связует власть слова со словом власти: доклады делались власть предержащими. А далее доклад распылялся, рассеивался: на так называемую наглядную агитацию, украшавшую улицы, площади, фронтоны жилищ. На заглавия газетных передовиц, каждая из которых являла собой филиацию, вариант доклада, сводя музыку революции к несколько монотонному барабанному бою. На перлы из сочинений всевыносящих школьников, которые даже и трактаты свои о лермонтовском Печорине ухитрялись заканчивать патетическим воплем о том, что весь наш многомиллионный народ сплоченными рядами шагает в светлое будущее, а если это понадобится, то мы все как один поднимемся на защиту завоеваний... Это в пику Печорину, томимому скукой и не знавшему, куда себя деть. Наконец, от доклада с какими-то поросячьими взвизгиваниями отлетали императивы-таблички: «Нет выхода... Руками не трогать... Не высовываться...» И нетрудно заметить: по большей части эти осколки призывов, запретов и назиданий обретали уже и высший, метафизический смысл: высовываться и впрямь было довольно рискованно; и не зря же сейчас вся наша публицистика грустно обыгрывает этот категорический императив.

Как известно, надо было все время делать какой-нибудь вид. Притворяться, будто что-то мажорное у нас есть в изобилии, а, напротив, чего-то или кого-то минор наводящего у нас нет и в помине. Оттого-то в поле зрения не могли попасть огромные социальные группы. Уж не буду распространяться о блудницах и наркоманах; но, например, неудачники. Люди, так и не достигшие чего-то заветного, для них вожделенного. Чего проще: неудачник, не прошедший, положим, по конкурсу в университет, в институт. Есть он? Есть. Раз, другой, третий раз поступал, да не приняли: балла по химии недобрал или на экзамене в творческий вуз, в театральный, басню прочел коряво.

Многократно отброшенный с порога желанного мира неудачник находит утешение в логократии. Продавщицы московских универсамов, заурядных продмагов, хозмагов, без труда и даже с каким-то садистским изяществом доводящие до стенокардии и до желудочных спазм стариков-инвалидов, кто они? Они несостоявшиеся кинозвезды: поступали во ВГИК и в ГИТИС, куда только не поступали. Но сработала система, по сути своей справедливая, хотя и суровая. На экранах замельтешили другие, счастливицы. А ты стой теперь за прилавком, да еще и тысячу раз

на дню отвечай, что колготок нет, зубной пасты нет, крупы нет и вообще ничего уже нет. Взвоешь тут! Но есть мощное орудие власти: слово. И есть власть. Над горемыкой пенсионером. Над усталой доцентшей: уж не той ли, которая на экзамене поставила тройку? Над мальчишкой, скопившим деньжат на игрушечный автомобильчик. Инвалид, доцентша, школяр в пионерском галстуке — все они перед тобою выстроились, и делай с ними, что хочешь.

Интереснейшей формой общения давно уж стала... очередь. Удивительная структура! Вереница самых разных людей, объединенных только лишь подвластностью тем, к кому они раболепно тянутся.

Ликвидировать очереди? Но очередь — проблема не экономики только. Не организации торговли. Это еще и проблема влас-ти.

Очередь — реализация знаменитого клича древнеримского плебса: «Хлеба и зрелищ!» Очередь — феномен XX века, и, по-моему, очень русский феномен. Первые очереди возникли за билетами на спектакли Художественного театра, на концерты Шаляпина: в Камергерском переулке рдели костры, студенты, курсистки грелись на лютом морозе, а потом они обретали награду, билеты на «Чайку» Чехова, «На дне» Горького; так русский человек утолял извечно томящую его духовную жажду. Были очереди за билетами на футбольные матчи, спонтанно возникавшие клубы болельщиков-знатоков. И очереди в кино. Словом: зре-лищ! А очереди за хлебом в 1917 году в Петрограде послужили поводом для начала февральских событий. И потом пошло и пошло!

Если бы сложить воедино очереди, которые выстоял я, получилась бы, наверное, гирлянда от Земли до Луны. А в конце ее — теперешняя, современная очередь. Так, конечно, очередишка, смех один: человек пятьдесят. В магазине «Диета». Упирается очередь в нечто вроде трибуны, на трибуне — одна из несостоявшихся кинозвезд. Стоим, думаем о чем-то своем. Иногда позволяем себе пошептаться. Вдруг — победный вопль нараспев: «Ко мне не стано-о-овьтесь!» И почтительный шепот: сюда становиться не велено.

Власть, она, видать, упоительна. Власть девицы в магазине над дядей в очках и с портфелем. Медсестры над стенающей старухой больной. Шофера такси над беременной женщиной в сопровождении взволнованного мужа-рабочего. Автослесаря над лебезящими владельцами «Жигулей». Так они и отдадут свою власть, как же, держи карман шире! Тут — традиция, укоренившаяся традиция: за отсутствием подлинной демократии и ощущения себя хозяином жизни, страны — упоение тем, что до-рвал-ся до власти хотя бы уж над покупателями в пропитанной миазмами несвежих продуктов «Диете». Тут и своеобразная социология процветает: «Господ теперь нет!» Или: «А я, между прочим, вам не слуга!» Что ж, и это обрывки какого-то лозунга, восходящего в конечном счете к пространным докладам, к содержавшимся в них мажорным обществоведческим догмам.

А еще фельетон. Он расцветал, он и классику свою создал: в начале XX века не совсем справедливо забытый ныне Влас Дорошевич, а потом Михаил Кольцов, Илья Ильф и Евгений Петров, гениальный Зощенко. Уже после войны — Семен Нариньяни. А потом фельетон вырождается. Фельетон становится продолжением доклада, приложением к нему. Цель — преследовать, искоренять. А попросту — извести человека. Одного человека. Данного. Э-то-го: «Ату его, граждане!» Фельетон убивал. Порою буквально: фельетон становился легальным способом убиения словом, предельного выражения логократии.

Убивали и фельетонистов: Кольцова. Да и Зощенко убивали при помощи странных конгломератов: доклад-фельетон. И Ахматову. А разгул фельетона — в травле Бориса Пастернака: видимо, какое-то особое удовольствие доставляло хлестать фельетонами по лирике, самому, наверное, беззащитному виду литературы. И чем музыкальнее, чем нежнее, интимнее была она, тем заметнее на лице, на лике ее становились чернильные кляксы фельетонного над ней измывательства.

Фельетон проникал в доклад, с этой точки зрения мы когда-нибудь, преодолев брезгливость, должны будем проанализировать риторику таких Цицеронов, таких Демосфенов тридцатых — сороковых годов, как А. Я. Вышинский и А. А. Жданов. Они, я думаю, создали удивительно целостный сплав доклада и фельетона. Да и в связи с историей двух владевших социальным сознанием жанров и И. В. Сталина нам надо будет исследовать: фельетоннные перлы в его докладах занятны семинарским их остроумием, а при этом нередко опять-таки и прямою их ориентацией на убийство. И не правомерно ли то, что ныне инерция ядовитого, убийственного фельетона продолжается на улицах, в магазинах, повсюду?

«Гражданин, вы не в кино!» — шепчет тетка в смиренном платочке. Батюшки, а тетка-то... фельетонист! Стало быть, и в храм бесеночком этаким заполз фельетон. Худосочненький, но обладающий всею атрибутикой жанра: вразумить, одернуть, поставить на место. Показать заблудшему власть язвительного сарказма. Но при свете лампад, в благоухании ладана тут уже проглядывает бесовское что-то.

Обращение отмерло: «Гражданин... товарищ...». «Сударь», «сударыня» — не привилось и, я думаю, не привьется. Зато появилось: «Женщина!» И совсем уже непристойное, сексуально окрашенное: «Мужчина!» Да, похабно. А чем заменить? Но я верю: придумаем.

Простодушная вера моя в обновление всего прежде опирается на традицию.

Мы призываем друг дружку искать истоки, приникать к корням национальных преданий. Приникать так приникать, тем более что в течение тысячи лет русское бытовое общение создавало свой собственный стиль, свои речевые жанры. Слагались они и в коммунальном обслуживании, и в торговле.

«Не обманешь — не продашь» — эту поговорку давно уже стали толковать одиозно, как нечто циничное. А смысл ее шире: не продашь ничего, если не сумеешь за-манить к себе человека, при-манить его в лавку, привлечь к своему товару. И слагались традиции при-манивания, в ходе коего возникали прежде всего подчеркнуто ласковые обращения: «Сюда, сюда, господин хороший... К нам пожалте, сударыня...» В за-манивание входили импровизации на устойчивые, постоянные темы: товар — свежий, оригинальный, новый, только что полученный из Стамбула, из Амстердама, а то даже и из Парижа. В ритуал при-манивания входила щедро, пригоршнями рассыпаемая лесть, комплименты; извозчики всех без разбору честили княжескими, графскими титулами: «Ваше сиятельство, а вот на резвой!» Отдельные словечки, присловья, перлы народного красноречия можно было бы выкопать в описаниях старой Москвы, Петербурга. Но их-то уж не восстановить, да и гнаться за этим не надо, потому что немыслимо представить себе таксиста, с белозубой улыбкой взывающего к кому-то из нас: «А вот на «Волге» да с ветерком... Мигом доставим-с...»

Невосстановимы отдельные детали, штришки; но корни где-то законсервировались. А корень тут в незыблемом чувстве семейственности всех, всеобщего необъявленного родства. Отсюда и обращения: «Папаша... мамаша... дедушка... дочка... сынок...» И классическое русское: «дядя», «дяденька», «дядечка». Подобное есть и в обиходе других народов, и все же коэффициент выражения условных родственных связей у нас значительно выше. Они преобладают над всеми иными. Они еще как-то спасают, позволяя нам держаться в рамках приличий.

Меня восхищают заскочивший в придорожный ресторан шоферюга, сельский механизатор, рабочий-строитель. Там, где мы ждем то ли американского, то ли какого-то усредненно-европейского сервиса и злимся, не обнаружив и тени его, они обращаются к неумирающей национальной традиции. Все начинает до смешного напоминать сцену в корчме на литовской границе в драме Пушкина «Борис Годунов»: в ход пускается некая почти родственная фамильярность, и официантка — у Пушкина это хозяйка корчмы — оказывается «мамашей», причем на «мамашу» не обижаются даже относительно юные: мамаша, мать — та, которая вскормила и продолжает кормить. В данном случае кормит официантка, стало быть, она и «мамаша». Сыплются уменьшительные суффиксы: «помидорчики... огурчики... лучок...», степень голода, терзающего гостя, нещадно гиперболизируется: если мамаша тотчас же не принесет ему хотя бы огурчиков, он «ноги протянет», «концы отдаст», «загнется». И «мамаша» добродушно ворчит: «Да уж ты-то загнешься... Как же, так я тебе и побежала...» Но, словно пробудившись от настороженной спячки, «мамаша» тяжеловатой рысцой трусит на кухню, через минуту появляясь с подносом, уставленным «закусоном». А случись с разудалыми гостями беда, перепьются, скажем, они, и не кто иной, как «мамаша» уведет их за кулисы той сценической площадки, на

которой все они подвизались, глядишь, и отоспаться куда-то препроводит: воистину все по-родственному и с уже недоступным для нашего брата интеллигента артистизмом, с умением подчинить себе ситуацию.

За подобными сценками — до неузнаваемости деформированные, но подспудно живущие традиции русских трактиров, обжорок да ставшей известной благодаря удвоенному гению Пушкина и Модеста Мусоргского корчмы. Была там и увековеченная ими Хозяйка; но были там и парни в длиннополых рубахах, которые странно звались «половыми». Выбор блюд был побольше, благо же ни царь-батюшка, ни министры его до Продовольственной программы додуматься не смогли. Но ощущение пребывания на лоне семьи единой оставалось у обеих сторон, вкушающей и кормящей, потчующей. На таком ощущении и держался наш, специфически русский сервис, который вдруг почему-то стал вытесняться попытками учреждения в нашем быту стиля заморского.

Но русский стиль сохранялся. И один мой знакомый удачно сказал, что мы все ощущаем себя как бы единой семьей, переживающей общую затяжную беду. Правильно, и на этом ощущении десятилетиями длящегося соборного бедствия порой удается пообщаться по-человечески. Уехал в командировку писатель, а жене его на почте денег не выдают по доверенности: печать не такая, как надо, и не там, где надо, поставлена. Бедная дама качает права, пытается доискаться почтового начальства, а в конце концов исторгается из уст ее жалобный стон:

— Но мне же детей будет кормить нечем!

И лик непреклонной тетушки в почтовом окошке вдруг как-то смягчается:

— Ладно уж, получите ваши деньги!

Конфликт исчерпан. Стиль единой семьи, претерпевающей бедствие, вновь и вновь оправдал себя. И этот стиль, формируясь в быту, в самых низших слоях общения, поднимается выше, выше. И не могу я не радоваться: и доклад, официальный доклад в его каноническом виде исчезает, сменяясь жанром, который в старину называли «словом»: «Слово о законе и благодати» легендарного митрополита Илариона из глубин непредставимого XI столетия шлет нам свои светлые излучения. «Слово» — жанр обаятельный, жизненный, емкий: и гражданская проблематика, и лиризм, и высокое доверие к внемлющим. «Слово» не директива; а скорее размышление о самом насущном. Апелляция к разуму слушателей. К их сердцам. Этот жанр, еще оставаясь неузнанным, уже пробивается на самые официальные форумы. И, видать, сам фундамент общения, его базис меняются. А раз так, постепенно, медленно, со скрипом, но изменится то, что от него производно. Культура е-ди-на, и стиль Дворца съездов не может не взаимодействовать со стилем метро, магазина, улицы.

Пошловат реставрированный Арбат, искусственен он. Однако, я смотрю, и к нему привыкаем. Обживаем его. И главное: здесь уже почему-то неудобно рявкать друг другу вразумления, колкости; здесь мож-

но просто за-говорить, а потом и раз-говориться с кем-нибудь. А в общении, помимо всего, человек особенно ценит неожиданности. Внезапности ценит. Я сказал бы, острые ощущения, ибо в нашем насквозь расписанном, регламентированном, плановом мире места для них не осталось. И попытки придать улицам новый облик и новые функции я в душе всемерно поддерживаю: там пробиваются к жизни, рождаются уже и новые словесные жанры.

Слово митинга, которого и старожилы уже не помнят.

Рекламный призыв.

В общем, как-то мы ожили вроде бы. Психологически ожили, хотя говорим еще трудно. Будто с лютого мороза в новое время входим: и хочется о многом друг дружке сказать, а губами с трудом шевелим. Как говорится, «не владают» они.

Еще не владают.

Но правда же, дело не безнадежно?..

1988

ГЛОБУС РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Что ни лето в конце июля, в начале августа приезжают к нам в МГУ, в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (а я там без малого уже сорок лет подвизаюсь), очень славные, как правило, люди. И проводится для них семинар: семинар преподавателей русского языка и литературы, прибывающих из-за морей-океанов, вообще из-за рубежа. Коридоры заполняются австрийцами, немцами, итальянцами, французами, шведами, финнами; мельтешат среди них и общительные американцы. Не элита съезжается, не мировые светила, обремененные академическими званиями и сотнями научных трудов. А съезжаются те, кто попроще: преподаватели колледжей, аспиранты. Они восприимчивей, гибче, и работать с ними одно удовольствие: чувствуешь, что ты нужен.

И к тому же я понял, чем различаются обсуждения какой-либо литературной проблемы, диспуты там, на Западе, и у нас, в нашем продолжающем стынуть в своей ортодоксии литературно-идеологическом мире. Там, на Западе, диспут — это прежде всего обмен мыслями. Слово, тезис какой-нибудь, выдвинутый выступающим, я бы сказал, уплотняют. Обогащают материалом — часто очень неожиданным, так, что тезис иной раз проецируется и на другую эпоху. Можно, к примеру, сказать, что сюжет у Пушкина — всегда диалог с прогнозом, высказанным в самой разнообразной форме: ею может быть и не очень-то внятная речь вдохновенного кудесника в «Песне о вещем Олеге», гадание деву-

шек-служанок в «Евгении Онегине», вещий сон в последующих строфах того же романа, в драме «Борис Годунов» или же в «Капитанской дочке». Прогноз выдвигается; и далее в нарративном (повествовательном) произведении начинается диалог: события спорят с ним; предначертанное, разумеется, не просто сбывается, а сбывается, как бы сопротивляясь прогнозу, от него уклоняясь, ставя его под сомнение: от коня в конце концов принял смерть князь Олег или нет — так до конца и не ясно. А диалог с прогнозом, однако же, налицо. И подобное определение сюжета уводит в античность — к тому, что еще Эдипу было предсказано. Уводит в фольклор. И уводит к Евангелию. А главное, в жизнь перебрасывается. В нашу социальную жизнь: живем, жили и будем жить от прогноза к прогнозу. Тут нельзя не вспомнить хотя бы хрущевского, знаменитого: в 1980 году — коммунизм. Вели мы тогда диалог с прогнозом? Конечно, вели! Кто-то рьяно выкрикивал его на собраниях — правда, не было уже надлежащего пыла, и в выкриках пробивалась надвигающаяся апатия. Кто-то благоговейно поддакивал, но опять же без былого надрыва, а вроде бы так, по обязанности. Втихомолку выражали сомнение. Пожимали плечами: «Очередная авантюра!» Но диалог-то был, и народ — весь народ — был втянут в единый идеологически цельный сюжет. Выходит: сюжет, сам сюжет, сюжет как основа структуры повествовательного произведения, отражает жизнь, структуру определенных ее ситуаций. Специфика же сюжета в искусстве в том, что создатель произведения знает исход диалога. Даже импровизируя, все-таки зна-ет. Но он трансцендентен герою, и то, что открыто ему, для героя закрыто: герой может просто не расслышать прогноза в шуме жизни, его окружающей; не придать ему значения может. А может от него и пренебрежительно отмахнуться, но тогда прогноз догоняет, настигает его.

Выдвигал я этот тезис на семинаре иноземцев-славистов, русистов; и навстречу тезису тотчас новые и новые примеры посыпались: разумеется, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, книга, вся основанная на своеобразной игре с прогнозами. Вспоминались более туманные прогнозы в повестях и в романах Андрея Платонова. Мы заглядывали и в жизнь, в современную жизнь, и все вместе задумывались об особой роли в ней Апокалипсиса: на сверкающие прорицания величайших пророчеств ныне не ссылается только ленивый, вновь и вновь дешифруя их и толкуя их вкривь и вкось (есть существенное различие между пророчеством и прогнозом, и ошибка здесь в том, что они неправомерно отождествляются, хотя Иоанн Богослов прогнозами сроду не занимался). Так кипела у нас ра-бо-та: стиль ее, казалось бы, совершенно естествен и иного не может быть.

Может! У нас совершенно иная традиция научной дискуссии: традиция контролирующая. Традиция апробации на методологическое благонравие. На лояльность. На безгреховность идей и, главное, методов, исследователем практикуемых.

Страница за страницей читая газеты конца 20-х и начала 30-х годов, я воочию видел, как закладывалась эта традиция: какой-то чудовищно грандиозный утюг, злобно шипя, рассыпая во все стороны угли, поминутно оставляя на ткани рыжие пятна прожжений, ритмично утюжил науки: историю, лингвистику, эстетику и далее, далее — вплоть до сугубо умозрительной математики. Державшая его десница оставалась незримой, но не могло быть сомнений в ее твердости, неукоснительности. На гладко отполированном металлическом брюхе чудовищного утюга, утюжища оттиснуты были цитаты из классиков, основоположников. Они навсегда отпечатывались на отглаженной ткани. Ими-то и означались границы, пределы, выходить за которые было немыслимо. Утюг действовал беспощадно.

Одновременно шел в рост и особенный тип ученого — ученого-инспектора, ученого-контролера; роль его функционально была вполне тождественна роли часового-«вертухая» на бревенчатых вышках, с которых обозревались концлагеря. И не следует думать, что роль эта предназначалась исключительно для тупиц и бездарностей; нет, были и таковые, и не было им числа, но все-таки дело обстояло сложнее: психология сторожа, охранника, «вертухая» врастала в сознание и достаточно одаренных людей, и целью научного диспута все очевиднее становилось: найти, отыскать в сообщаемых тезисах какую-нибудь крамолу. Хоть бы даже малю-ю-юсенькое отклонение. От чего отклонение? Сначала, разумеется, от тех же навечно вколоченных в разум цитат; затем, уже в годы безвременья,— от на-у-ки. Какой науки? Ах, да даже и неважно, какой! От науки вообще. Понимаете? От на-у-ки. И торжественно произнося магическое слово «наука», надлежало многозначительно поднять вверх указательный палец. Под «наукой» чаще всего подразумевалась уже просто какая-то тяжеловесность, увесистость слога. Заведомо дутая, но необходимая массивность его. И единственный смысл таких апелляций заключался в подразумеваемом обращении куда-то в непроницаемые верхи: к М. А. Суслову, по всей вероятности. «Живите спокойно, дорогой Михаил Андреич! Мы, здесь, внизу, неизменно стоим на страже вашего незыблемого покоя. Мы бдим!» И так или иначе, но уже на исходе года от рождества Христова 1987-го, от начала же революции семидесятого определение сюжета, которое я сформулировал и не без гордости выдвинул — дома, на том же филологическом факультете, стоило мне года терзаний и треволнений, обострения давней болезни: где-то в архиве очаровательной секретарши кафедры истории русской литературы и поныне валяется направление, выписанное вызванной по «03» и искренне переполошившейся врачихой: «Срочная госпитализация». От больницы я уклонился, но натерпеться пришлось. А уличили-то меня — не больше, но и не меньше! — в предрасположенности к фатализму и даже к... оккультизму (которого я, коль уж к слову пришлось, не выношу совершенно). Вот-те и диалог с прогнозом!

Нет пророка в своем отечестве! Здесь же люди тебя принимают, подхватывая мыслишки твои, находя ответвления от них, применяя их к новому материалу. Возникает ощущение причастности к общему делу: к освоению русской литературы прошлого века; приходит сознание того, что оно идет повсеместно, хоть глобус бери и точки на него наноси. Мно-о-ого ярких точек ляжет на глобус.

Но сколько упущено было! Боже правый, сколько же было упущено!

Лет тридцать проходил я в «невыездных»: особая социальная группа, парии; но неявные парии. Скрытые от общественного внимания.

Вообще-то «невыездные» — люди как люди: лекции почитывают, семинары ведут. Чепуха, будто какие-то особенные предпочтения оказывались членам партии, а третировали беспартийных. Граница проходила не здесь; я знаю беспартийных, которые свободно раскатывали по всей вселенной, и членов КПСС, о которых где-то в невидимых сферах, наверное, говорили, отуманенно глядя вдаль, что-то вроде: «Есть мнение, что надо бы воздержаться... Поступали сигналы...» И — амба: слагался особенный тип человека, специалиста, так сказать, лишь для внутреннего употребления. Такой человек, как говорилось в юриспруденции еще дремучих времен царя Николая I, был «оставлен в сильнейшем подозрении». Не обвинен, нет, зачем же? Но и не оправдан, а так, оставлен, и все тут. И сыплются приглашения на конгрессы, на всякого рода симпозиумы. А он, бедняга, заболевает. Опять приглашения, а ему все неможется, и вместо него приезжает другой. Радушные устроители симпозиума натянуто улыбаются, вежливо выслушивают отбарабаненные им, где-то многократно утвержденные словеса, в которых, разумеется, чему-нибудь «дается отпор» и в которых, конечно же, «на ряде конкретных примеров доказываются преимущества нашей методологии», и с облегчением вздыхают, провожая его, обремененного яркими пакетами с рекламой местных супермаркетов или, чаще, крохотных мелочных лавочек, на вокзал. Возвратившись, «выездной» делает на кафедре победный отчет, а «невыездные», забившись в уголок, благоговейно ему внимают: та, рожденная еще незабвенными 30-ми годами методология торжествует безоговорочно. Торжествует на-у-ка (и вверх вздымается указательный перст).

И годами ходили в «невыездных» профессора-пушкинисты, умнейшие теоретики, оригинальные критики, талантливые поэты. А вместе с ними в «невыездных» ходили Пушкин и Гоголь, Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Маяковский и Блок, не говоря уже о русских авангардистах начала XX века: сколько бы мы ни иронизировали над сложившимся стереотипом литературоведа, олицетворяющим какого-то неисправимого педанта и безнадежного сухаря, без него литература немыслима. Ей нужен интерпретатор. Органически нужен, присутствие его предпо-

лагается самою структурой художественного высказывания; и ныне, по-моему, грядут времена, когда эта закономерность откроется миру во всей ее непреложности: уж очень многое одна только русская литература сказала о нас. О нашем неясном времени. Сказала по-своему, на своем, на специфическом языке; а внятен он может быть прежде всего именно профессионалу-литературоведу.

Но чем талантливее был какой-либо литературовед, тем чаще заболевал он в ответ на какие бы то ни было приглашения; и глобус русской литературы сужался, съеживаясь до размеров биллиардного шарика. Ныне он расширяется: кому ни позвонишь, коллега оказывается то в США, то в Канаде, то где-то во Франции; все дружно повскакивали с одра болезней. Понимаю нелепость моего умиления, но и все-то мы нынче умиляемся чему-то нормальному. И всего лишь нормальное кажется нам невиданным благом. Да и вправду же благо, что глобус стал как бы увеличиваться в объеме: расширяется аудитория русской литературы, а за международным научным обменом приходит и обновление наших представлений о собственных национальных литературных сокровищах. О новом мышлении в литературоведении говорить еще рано. Но какие-то новые мысли уже появились.

Уже давно стало общим местом, что русская литература была литературой вопросов: «Кто виноват?», «Что делать?», «Не начало ли перемены?» Здесь мы останавливаемся, как бы не слыша еще одного вопроса: «В чем моя вера?» Л. Н. Толстого. А подобный вопрос мог прозвучать уже только на фоне дестабилизации веры, расшатывания ее и в интеллигенции, и в народе.

«В чем моя вера?» Толстого завершает литературу XIX столетия, выявляя основное ее содержание: это были, как сказали бы мы теперь, чтения о человеке и Боге. Они длились в течение века, и отсюда-то проистекает ощущение: XIX век в России был на редкость, я сказал бы, духовно компактен. Тут какая-то... плотность есть. Прилаженность одного к другому: поэзия — музыка — живопись. При всем различии идеологических устремлений все словно в узел завязано. И компактность эта зиждется на одном проясняющемся только теперь основании: взяли на себя мировую, исключительную ответственность, сквозь собственную душевную боль, полыхая в полемике, вопрошать бытие, что же будет тогда, когда человек останется на земле один на один со всеми проблемами, обступающими его со всех возможных сторон. Без Бога — один.

«Пришла пора Божьему миру погибать»,— задумчиво и неспешно говорит старик пастух в небольшом рассказе Чехова «Свирель». Он написан более ста лет тому назад, в 1887 году; напечатан он был в газете «Новое время». Переиздавался тысячу раз, но вся сила выраженных в нем народных предчувствий остается невыявленной.

Не сторонник я входящей в моду эсхатологии: задохнемся от химикатов, все подряд перемрем от СПИДа. Все-таки не задохнемся, я полагаю. Да и СПИД, он же все-таки не чума, которой его сгоряча уподобили.

Но старик пастух из «Свирели» для своей народной эсхатологии имел основания, и рассказ буквально по пунктам перечисляет все, решительно все наши нынешние экологические тревоги: реки мелеют и сохнут, вырубаются леса, вытесняются из жизни, вымирают твари земные. И вздыхает пастух:

> «Жалко!.. И, Боже, как жалко! Оно, конечно, Божья воля, не нами мир сотворен, а все-таки... жалко. Ежели одно дерево высохнет, или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет, а каково... глядеть, коли весь мир идет прахом?»

Как-никак, а больше ста лет протянули мы со времен прорицаний дедушки-пастуха. Но истоки их всем нам глубоко близки и понятны, и ясно, что рассказ предвидел не события, которые свершатся, произойдут, а общественные настроения будущего. В этом смысле он на век вперед заглянул. Что ж, еще одно предсказание XIX столетия, подтвердившееся в XX (говорю же, что жизнь сю-жет-но организована: век XX, в частности, ведет диалог с прогнозами XIX). Вероятно, вникать в логику таких предсказаний зарубежным гостям нашим будет всего интереснее. Но вникать в нее надо очень серьезно, не гонясь за слишком уж очевидным: очевидное всплывает и там, где, казалось бы, говорится о чем-то таком, что непосредственно к нам не относится.

Нынче чуть ли не на каждом углу цитируется роман Достоевского «Бесы»: как известно, программы социального устроения, изложенные в нем, буква в букву осуществлялись в роковые для нашего отечества годы, изменились только масштабы. Пророчество? Нет, скорее прогноз — в этой части роман Достоевского не пророчествует, а прогнозирует. И пророчества, я полагаю, лежат глубже: не в фабуле только, а... И не просто новые мысли нужны здесь: мышление нам обновить бы!

Мы по-старому воспринимаем не проблему, художником выстраданную, а всего лишь явное: фабулу. То, что видно. То, что поддается цитированию. И лишь самое очевидное проецируем мы из прошлого в современность. Остальное же как-то даже и не работает.

«Капитанская дочка» Пушкина, это — о чем? Любой школьник отрапортует: о восстании Пугачева в XVIII веке. Молодец, что отрапортует; но все-таки поставим ему не «5», а «4»: он чего-то большего не увидел. Не увидел проблемы, приоткрывшей некоторые аспекты жизненной трагедии уже нашего времени. Назовем ее проблемой подмены отца лжеотцом. Отцом-самозванцем, и притом обаятельным, умным, смелым, а по-своему даже и добрым.

В середине XVIII столетия суровый служака отец отправляет юношу сына в армию, в удаленный, затерянный в степи гарнизон. По дороге, в морозной метели — встреча с еще не раскрывшим себя Пугачевым:

будущий предводитель восстания, бородатый веселый мужик спасает героя; вероятно, жизнь ему дарит. И видится юноше сон: ему грезится мать, которая уверяет его, будто бродяга-спаситель и есть его настоящий отец. Ему якобы неможется, слег он, умирать собирается. Юноша подходит к ложу отца, и его охватывает растерянность: «Что ж?.. Вместо отца моего, вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая». Так-то: вместо отца — мужик. Пугачев. Это сон, но с этой поры Пугачев и наяву начинает регулярно выступать по отношению к юному офицеру в роли его отца: еще раз дарует ему жизнь, спасая его от виселицы, помогает ему в женитьбе. А потом — казнь отца-самозванца. Двойника, дублера подлинного отца; и юноше даже грустно, он искренне опечален, хотя в его жизни все в конце концов сложилось прекрасно.

Что предсказано Пушкиным? Очень многое, в том числе и злой гений народов нашей страны.

Я вникаю в размышления нынешних историков и публицистов о природе тоталитарного террора, культа личности — словом, понятно чего. И умно, и талантливо; но я вижу один изъян: игнорирование эстетики. Эстетических устремлений народа как движущей силы истории, равноправной с другими факторами, ее формирующими. Есть же, скажем, эстетика сыновства, сыновней приверженности к отцу, сознания того, что весь мир пребывает под каким-то объединяющим покровительством, без которого нет и не может быть в нем эстетической полноты, завершенности. «Свято место пусто не бывает» — резонно утверждает пословица. А функция всеведущего и всеобъединяющего отца с устранением из нашего сознания Бога становится местом, которое должен занять человек. Всеобщий отец. Но тогда зачем нам еще один отец, реальный, давший нам жизнь? Да он вовсе не нужен!

Отторжение от отца — проблема, поставленная еще в «Гамлете» Вильяма Шекспира. Отравление отца мыслителя-принца уж никак не только политическое убийство, акт борьбы за власть в мифической Дании. Этот акт может быть понят только как явление духовной истории человечества. Цель его — порвать связи сына с отцом и дать сыну другого (!) отца. Очень может быть, что Пушкин в «Капитанской дочке» следовал завету Шекспира, которого, кстати, однажды назвал он... отцом (!) новой русской литературы. Гринев Пушкина, офицер XVIII столетия,— один из множества русских Гамлетов, хорошо знакомых нам по художественным произведениям прошлого века и по нынешней нашей жизни.

Сделаем шаг от «Капитанской дочки» и «Гамлета» к... современной газете, потому что в нашем веке газеты иной раз запечатлевают трагедии, масштабом не меньше шекспировских. Свежий номер газеты, статья «Снова о Маринеско». Маринеско — отважный морской офицер, командир субмарины. Совершал он подвиг за подвигом, был представлен к званию Героя Советского Союза. А потом его оболгали. Оклеветали.

И — в лагерь. И в отчаянии писала Сталину мать, мама героя: умоляла вступиться. «Станьте отцом моему сыну... — молят строки письма. — Я становлюсь перед Вами на колени, я умоляю Вас — помогите, родной наш отец!»

Да простят мою холодность тень моряка и тень его матери; но такое уж дело мое: ис-сле-до-вать. Показать до неправдоподобия полное совпадение ситуаций. Двух: описанной Пушкиным и сто лет спустя повторившейся в нашей жизни. Совпадение сна и яви. Там и здесь — подмененный отец. Там и здесь обстоятельства слагаются так, что именно мать отдает сына в руки этому лжеотцу. Там и здесь льется кровь: лжеотец, у которого молодой офицер упрямо не хочет поцеловать руку, «выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны...» И герой «Капитанской дочки» торопливо записывает: «Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах...» Нет, пугачевское восстание, оно и вправду описано. В основном же у Пушкина говорится про нас: тут тебе и кровавые лужи, и тела убиенных. Совпадение фабулы? Да. Но прежде всего: совпадают про-бле-мы. Даже только одна. Единственная: проблема подмены отца псевдоотцом. У Шекспира — это Клавдий, король; а у Пушкина — Пугачев, назвавшийся русским царем Петром III, но так или иначе, лжеотец подвизается где-то в сфере политики. Подвизается, искажая эстетику сыновства-отцовства, хотя в то же время и всемерно ее эксплуатируя.

Тоталитаризм просто должен был разрушить единство «сын — отец». И, как правило, уничтожали отца, а при этом сын обязательно должен был от него отойти и духовно: отказаться от него, а уж лучше всего — написать на него донос. И тогда-то являлся другой отец. Как бы подлинный. Новый: партотец, госотец, пред которым и бухалась на колени мать героя-подводника. Да одна ли она? Сталин — это политика? Да. Экономика? Да. И я вижу: Сталин — это эстетика. Его образ воссиял над страною, над миром в момент перехода от религии к гуманизму. И сложилась вывернутая наизнанку эстетика веры. Христианской, магометанской, иудейской, какой угодно, ибо всякая религия чтит идеальный образ отца. Религия ослабевает, выветривается, а потребность в идеальном отце у людей остается. И не может не явиться в истории кто-то, отвечающий ей. Но тогда реальный отец человека оказывается конкурентом, соперником новоявленного мессии. А соперников устраняют.

Были ли альтернативы Сталину? Не думаю. Можно ли представить себе Льва Давидыча Троцкого в качестве, в роли... отца родного? Отца доблестного героя или отца народов? Перед ним, что ли, должно было падать матерям на колени? Перед лужами крови Троцкий не останавливался, но на отца не тянул. Не годился в отцы. А Бухарин? Он — отец?

А Зиновьев? Ни один из них не знал, не чувствовал роли, которую надлежало играть: эстетики у них не было. А у Сталина — сплошь эстетика, гениально угаданная им эстетика государственного отцовства, полноправно сокрушающего чьих-то реальных отцов, одного за другим (иногда, конечно, уничтожали и сына, оставляя в покое родителей; сущность же была неизменной).

У меня — лишь наметки. Пунктир чертежа эстетики, открывающейся нам по мере осмысления прошлого и строительства наших надежд. Но уверен я, что стою на перспективном пути.

Расскажу иноземцам о «Капитанской дочке», о «Свирели» Чехова и трактате Толстого «В чем моя вера?». Все они поставили вопросы всемирные, и заморские гости — благодарнейшее сообщество для приведения этих вопросов в систему.

Интерес к российской словесности там, на Западе, неуклонно растет, как бы сами мы одно время ни старались этому помешать: аспирант из Айовы вдруг вздумал писать диссертацию об Андрее Болотове, баскетбольного роста обаятельный верзила-бельгиец — о новеллах Владимира Одоевского «Русские ночи». И в числе несомненных успехов зарубежной русистики то, что она никогда не рассматривала историю нашей литературы как историю только лишь классиков. Как победное шествие их от шедевра к шедевру; предрассудок, заданный науке средней школой, объективно — какое-то высокомерие; ниже гениев знать никого не желаем. А на Западе штудируют нашу словесность дотошнее. В чем-то тщательнее, пристальнее, хотя, может быть, с точки зрения теории как-то скованнее. Это странно: мы-то скованы были директивной единой методологией, защищавшей себя с невиданным фанатизмом, всеми средствами: от ввержения инакомыслящих за колючую проволоку до гражданского убиения их злобной кличкой, каким-нибудь нелепым, но клейким словцом. А у наших зарубежных коллег — плюрализм как обычное, норма. Но при нем, однако, внутренняя несвобода. Вероятно, вместе преодолеем ее.

Справедливо говорим мы о всемирной отзывчивости русской литературы. Только больно уж много о ней говорим. И с такими интонациями, будто это лично каждый из нас всю ее написал.

Да, отзывчивость есть. Но есть и отзывчивость нам в ответ.

«Рут,— спросил я у Рут Видмер, умной девушки, швейцарки-русистки,— а почему вы начали заниматься нашей литературой?»

Этим очень однообразным вопросом донимаю я всех иноземцев. Чуть поближе сойдемся, я тотчас: «А почему?..»

Отвечали по-разному. И по мере того как я становился, если можно так выразиться, все выезднее, нарастала и пестрота ответов. Отвечали, что существующие переводы на финский «Преступления и наказания» Достоевского неудачны и что надо бы перевести роман наново. Отвеча-

ли по-западному трезво и прагматично: хочу работать в какой-нибудь солидной фирме, на совместном предприятии, потому что экономические связи будут укрепляться, расти. А в Финляндии среди моих студентов был однажды и пятидесятилетний... хозяин огромной гостиницы. Для него наш русский язык — едва ли не шестой или седьмой из тех, которыми он свободно владеет. Он хотел оказаться на высоте перед гостями из нашей страны, а пока что, сидя за партой рядом с восемнадцатилетними девочками, без малейшей тени смущения выявлял все в том же романе мотив... камня. Рут ответила всех неожиданнее: «Когда я училась в гимназии, вашу страну все ругали. Все-все: правые, левые. И мне очень захотелось узнать, что же это за такая страна...»

Рут учится в Берне. Пишет дипломную работу о... коллективизации. Не историк я, я просто эту коллективизацию видел. Самым краешком глаза, ибо мал был зело, был я только трех-четырех-пятилетним мальчишкой — впрочем, тот именно возраст, когда люди, вступившие в жизнь, обладают особенно обостренным ощущением ужаса. И в сознании отложилось: коллективизация — ужас.

Приезжали к нам в Москву какие-то синие отечные мужики — наши добрые знакомые из Новых Сенжар, с Полтавщины. В тесной нашей квартиренке в доме № 11 по Тихвинскому переулку разместились на полу; по одеялу ползали вши. Поутру уходили куда-то: как-то пробравшись в столицу, пробирались и далее, на Урал: там нужна рабочая сила. Исчезли наподобие привидений. Потом лето 1935 года; живуч славянин, Украина кое-как поднялась из руин: горы фруктов на базаре, что раскинулся меж обвалившихся хат — только трубы торчали из зарослей крапивы, аки тощие-тощие руки, в агонии к небу воздетые. Как поймет все это Рут Видмер?

Полагаю, поймет. Почитает Василия Белова, «Кануны», сумевши отвлечься от сенсационных открытий, составляющих, мне кажется, предмет его особенной гордости, даже вроде бы творческой радости, в порыве которой, завершив свою драму «Борис Годунов», А. С. Пушкин, по собственному признанию, бил в ладоши и выкрикивал о себе такое, чего я о почтенном Белове повторить не рискну. И особо значительно из этих открытий: коллективизация — результат изощренных каверз Якова Аркадьича Яковлева, поелику был он вовсе не Яковлев, а Эпштейн, и как раз в год великого перелома он пробрался на пост наркомзема, а потом стал заведовать сельхозотделом ЦК. Это все он, Эпштейн, и устроил; а уж был бы наркомом земледелия Иванов, Петров или вечно сопутствующий им Сидоров, — обошлось бы, коллективизации не было бы. Детективность, склонность к некоей национал-криминалистике — явление нынче распространенное. И оно представляется мне нелепым не потому, что я как-то уж особенно привержен к Я. А. Эпштейну, а совсем по другим его, этого явления, свойствам: величайшая трагедия народа рационализируется, переводится в плоскость — именно в плоскость! — житейской эмпирики. Основание, база открытий талант-

ливого писателя Белова — нечто, как хотелось надеяться, давно изжитое: по-зи-ти-визм. Надо, дескать, только добраться до тщательно скрываемых фактов — и все тайны мировых катастроф и трагедий мы увидим как на ладони (если можно трагедию коллективизации объяснить злохидством Эпштейна и его соплеменников, то и, стало быть, так же, эмпирически, можно объяснить и великое переселение народов, и крестовые походы, и Тамерлана: надо только докопаться до политических сил, стоявших у него за спиной).

И в «Канунах» гораздо интереснее та свободная часть их, где писатель не старается как бы выполнить кем-то заданное ему задание на дом, урок, а действительно выступает пи-са-те-лем. Очень явственно обнаруживает себя в повествовании о бедах вологодской деревни традиция мирового романа; вновь и вновь оживает здесь Дон Кихот. Только тот, канонический, классический Дон Кихот разрушал ветряные мельницы, видя в каждой из них великана-врага, а российский Дон Кихот, коего два века искали да так и не смогли отыскать, в точности такую же мельницу у себя на Вологодчине построить пытается: вокруг этой мельницы и разворачивается сюжет. И проблема остается все тою же, и фабула, ее воплощающая: человек разрушает мельницу — человек такую же точно мельницу строит; вологодский Дон Кихот пытается противиться миру эпоса, в нормативы которого втискивали что бы то ни было индивидуальное, даже просто живое, будь то мысль искателя-интеллигента или стройка, которую затеял крестьянин: эпосу нужен простор, эпосу ясность нужна. И была коллективизация сплошным искоренением Дон Кихотов точно так же, как сопутствовавший ей террор был уничтожением Гамлетов. Нет, Эпштейном-Яковлевым этих явлений не объяснить; объяснение социальных трагедий подчиненностью человека жанрам, которые он получает в наследство и стремится сделать явлением жизни, представляется мне более серьезным, хотя, может статься, и не очень привычным. Правомерность его вполне вероятна, и, кстати, чрезвычайно точно ощущал начинавшееся внедрение эпоса в жизнь гений Андрея Платонова.

И Платонов нужен будет Рут Видмер, конечно,— писатель донельзя обостренного романного мышления, не пришедшийся, естественно, ко двору: террор был направлен на уничтожение, на искоренение романа, романного мышления во имя многократно воспроизводившихся на живописных полотнах и в кинохронике необъятных колхозных полей: они и олицетворяли счастье, наконец-то достигнутое человеком без Бога, восторженного сына, всецело отдавшегося духовной и политической власти его новоявленного отца. Позитивизмом тут не возьмешь; он может служить лишь подспорьем, пособием. Для постижения наших трагедий потребуются решительно обновленные формы и типы анализа; и не последнее место, возможно, будет отведено среди них социальной эстетике.

Глобус русской литературы будто разноцветными огоньками усеян: в Аргентине кучка бородачей-философов вознамерилась издавать серию монографий русских мыслителей XX века; в Канаде изучают скоморохов, в Швеции пишут диссертацию о юродивых. А в Швейцарии пытаются разобраться в зигзагах коллективизации.

Мы какое-то зрелище, занимающее весь мир: возмущаются, радуются, недоумевают и сострадают. Нас пытаются объяснить.

Мы и сами себя объяснить не прочь. Так соединим же усилия: вернее получится.

1989

ПРОЩАЙ, ЭПОС?

Появление романа затерявшегося в дебрях эмиграции писателя Нарокова (Марченко) «Мнимые величины» для нас, может быть, и не бог весть какое событие. Мы привыкшие, и скрывать от себя самих или лихо расточать по всему белу свету свои культурные ценности давно стало для нас как бы даже системой. Потеряли писателя? Эка беда, да мы «Слово о полку Игореве» потеряли однажды, куда-то засунули, лет шестьсот не могли отыскать и нашли в общем-то по счастливой случайности: Алексей Мусин-Пушкин, граф, расстарался. А тут «Мнимые величины». И без малого сорок лет жили мы, поживали, не подозревая о том, что в Калифорнии где-то существует писатель Нароков. В Ливерпуле или в Штутгарте, в Марселе или в Буэнос-Айресе прочитать его романы могли, а в Тамбове или в Иркутске никак не могли, потому что на английский да на испанский языки переведены они были, а у нас о них и не слыхивали. Но история повторяется, хотя, как известно, повторяется она в разжиженном, в смазанном виде. Отыскался некто, рискнувший выступить как бы в роли графа Мусина-Пушкина, откопавшего бессмертное «Слово...»: откопал за границей «Мнимые величины», протащил неведомым образом ксерокопию романа в Москву. Времена были скучные, однако же лютые. Мог бы запросто человек пострадать. Господь, впрочем, милостив: пронесло; пришло время — роман напечатали; и редакторы почтенных изданий нынче ищут по всей Европе другие романы Нарокова, а «Мнимые величины» («Дружба народов», 1990, № 2) читают.

А читая, как водится, уже скептически кривятся: не герои там, а куклы сплошные. Детективность преобладает: зам. начальника управления НКВД по-ковбойски стреляет в ставшего нежелательным свидетелем следователя, а начальник — в красотку учительницу, притворявшуюся страстно влюбленной в него. Председателя горисполкома потчуют ка-

пусткой, сдобренной цианистым калием; престарелый стукач под поезд бросается. Переодевания. Сошествие героя во ад, в дебри коммунальной квартиры, но как раз там-то обретение им, по-теперешнему сказать, дороги ко храму, к вере. Неправдоподобно все как-то: сплошное подражание Достоевскому.

Спорить трудно, ибо критерии, с которыми встречаешься здесь, представляются мне отвлеченными, умозрительными. У меня же в последние годы критерий слагается, смею думать, более конкретный, пусть и весьма предварительный. Наиболее существенные закономерности происходившего в нашей стране я пытаюсь обозначить в понятиях социальной эстетики; и роман об НКВД 30-х годов подтверждает мои догадки. И произведение это, полное тревоги и ужаса, встает рядом с повестью молодого писателя Геннадия Головина «Чужая сторона» («Юность», 1989, № 9—10). Тут единая линия; и поистине восхищает последовательность, с которой она проводится: где-то за рубежом не позднее первых послевоенных лет писал «Мнимые величины» Нароков-Марченко, эмигрант-инженер; а едва ли не полвека спустя с ним сегодня перекликается его собрат по перу, коего в те поры и на свете-то не было. Это, впрочем, закономерно: два несхожих произведения выявляют подспудные боренья общественного сознания. Обе вещи овеяны ощущением присутствия не только зла видимого, выливающегося в надругательства над человеком, так сказать, самодеятельные, но и зла, объединяющего все, казалось бы, разрозненные мелкие мерзости. Зла незримого, однако громадного. Идет тихая борьба с этим злом; и ее я назвал бы борьбою с... все тем же эпосом. Демонтажем эпоса. Попыткой раскрыть его механизм.

Я твержу, твержу и буду твердить, что жили мы... в эпосе. Что мы все были рьяно вовлечены в процесс построения эпического государства и что нами двигала именно эстетика эпоса. Собирательного эпоса, от «Илиады» и «Одиссеи» Гомера и до русских эпических поэм XVIII столетия, не минуя, разумеется, и былин, поначалу пролетарским государством напрочь отвергнутых, но с триумфом восстановленных в правах в 1935 году. И ко всем определениям псевдосоциализма, под игом которого барахтался человек, я добавил бы еще одно, социально-эстетическое: был э-пичес-кий социализм, ибо жанры, смею думать, не только в книжках живут: эпос, лирика, драма.

Жанр — тип мышления, предваряющий, предуказующий пути устроения социального бытия; жанр — эскиз, по которому люди рано ли поздно ли пожелают направить свои жизнеустроительные усилия. Пассионарность свою, ежели поверить весьма убедительным гипотезам Льва Гумилева. Да, гипотезы смело мыслящего ученого весьма перспективны. И однако же пассионарность не бывает и не может быть какой-то бесформенной, не осмысленной эстетически. Она требует идейных обоснований; и она наследует формы, в которые она выливается.

И тогда сама по себе пассионарность будет подобна потоку, а жанр — руслу, поток направляющему. Александр Македонский, царь-полководец, не был бы самим собой без Гомера.

Строить эпос — великое счастье и великий соблазн. И строительство эпоса в нашей стране вовсе не было исключительно ложью и лицемерием: Сталинградская битва, как и вся победа в Великой Отечественной, — бесспорнейший эпос. Очень может быть, что и к индустриализации, и к электрификации страна наша пришла бы без мук и страданий, испытанных ею. Но тогда они не были б эпосом, не были бы ритуалом, актом всенародного низведения солнца на землю. А первичен, изначален именно этот акт; и создание эпического социализма на нем как раз и базируется. Кооперация? Фермерство? У них есть один недостаток: слишком уж они прагматичны: расход да приход, бухгалтерия. Экономика, не оставляющая места эстетике эпоса. И погибла кооперация — как водится, вместе с ее теоретиками, недогадливыми, лишенными эстетического чутья.

Что мы делаем сейчас? Выражаясь в понятиях эстетики, мы демонтируем эпос. В двух его воплощениях: в классическом (Сталин) и в эпигонском: Брежнев — правитель-воин, осиянный сошедшими с неба звездами; превращение Малой земли в некое Куликово поле. И однако же разрушение эпоса намечалось давно. Опять-таки в слове. В литературе отрешенной и проклинаемой.

«Чевенгур» Андрея Платонова — осознание грандиозной нелепости: построение эпического мира сочетают с теорией классовой борьбы и прихода к диктатуре пролетариата. В Трою из гомеровой «Илиады» превращается Богом забытый город; а эпический богатырь разъезжает по степи на коне «Пролетарская сила», неся в сердце образ прекрасной Елены, именуемой Розой Люксембург. И естественно, что роман был отвергнут: гениальный писатель, что называется, в самую точку попал, он коснулся самого механизма внедрения эпоса в жизнь. А могло ли государство стерпеть подобное? Дальше — больше: гонения на роман. На роман как жанр. Всего прежде именно на него, потому что романное мышление радикально противоречит эпическому: мир романа — неясный, вопрошающий мир; и в эпосе ему не находится места. Контроверзы, вопросы; одно беспокойство от них!

«А ты — откажись от вопросов-то, замолчи вопросы... Ваш брат, интеллигент, привык украшаться вопросами для кокетства друг перед другом, вы ведь играете на сложность: кто кого сложнее? И запутываете друг друга», — поучает героя романа Горького «Жизнь Клима Самгина» его покровительница-купчиха.

И эстетика купчихи стала эстетикой государства. «А ты — откажись от вопросов-то!» — это, в сущности, орали и Пастернаку, надрываясь над невиннейшим «Доктором...» С этим шли на обыски к Гроссману, стран-

ным флером окутывали Битова, его «Пушкинский дом»: невозможно было понять, то ли есть на свете этот роман, то ли нет его да и не было вовсе. Еще раньше — роман-мученик, «Мастер...» Булгакова. Но романное мышление делало свое дело: оно, в частности, брало эпического героя и вталкивало его в свой мир — прием, в сущности, далеко не новый: еще Достоевский как бы мимоходом называет «Ахиллесом» солдатика-еврея, будочника, оказавшегося свидетелем самоубийства омерзительного Свидригайлова. Но прием великого писателя получил невиданное развитие. Лег в основу процесса. Как свидетельство такого процесса и должны привлечь внимание «Мнимые величины».

Эпос требует врага. И не только явного, тучей надвигающегося на солнечный мир, но еще и тайного, изощренного: знаменитый троянский конь. И роман Нарокова вводит нас в цехи фабрики смерти: с утра до ночи люди выдумывают врагов, и эпический конь появляется в обновленной редакции. И такого точного изображения кухни, лаборатории, в которой изготовляется эпос, у нас еще не было.

Много лет домогались: нужен образ рабочего. Подразумевалось: образ эпический, без вопросов — по эстетике той же купчихи. И как будто бы именно этот социальный заказ выполняется и в романе «Мнимые величины», и в повести «Чужая сторона». Только выполняется-то он с немалою долей писательского сарказма: Ефрем Любкин — рабочий; машинист, железнодорожник, оказавшийся начальником областного управления НКВД. Эпичность? Пожалуйста! Любкин — некое необходимое государству соединение большевика с богатырем. Но и перед ним возникают вопросы — уж хотя бы те, которые разрешены и эпическому герою, витязю на распутье. Круг вопросов, вырастающих перед ним, деформирован в треугольник: «...Направо поедешь — коня потеряешь, налево поедешь — сам убит будешь, а прямо ехать — дороги нет».

Любкин — витязь-воин, обращенный в витязя-чиновника, обреченного сочинять истории о проникновении врагов в охраняемый им неведомый город, в Трою областного масштаба; так и хочется сказать: Троянский обком ВКП(б), Троянский облисполком. Так эпический образ расшатывается, размывается; и весь путь новоявленного витязя становится путем от навязанной ему эпической роли к романным колебаниям, вопрошениям и исканиям. «Илиада» не состоялась!

Вся страна разыгрывала не токмо «Илиаду», но также и «Одиссею»: ратный эпос дополнялся эпосом полных опасностей путешествий. От дрейфа «Челюскина» до полетов в космические пространства — ряд «Одиссей»; а роль наших, социалистических Одиссеев поручалась то почтеннейшему академику Отто Шмидту, то Ивану Папанину. Были и крылатые Одиссеи: Валерий Чкалов, долетевшие до Северной Америки летчики. И поди-ка, отдели здесь подлинность от спектакля, от

действа, цель которого — проникновение эпического мышления в умы, овладение соборной душою народов.

А особое место в эпосе занимает прощание с воином-полководцем, тризна. Тризны, их печальная череда органично вошли в нашу жизнь; и опять-таки никто не возьмется разграничить всенародный порыв от эпичности заданной. Дни конца января 1924 года — уникальные дни: эпос похорон Ленина. И эпичность их с поистине гениальной изобретательностью подчеркнула ритмически четкая, даже вроде бы и к гекзаметру приближенная патетическая клятва Сталина; чувство эпоса у отца народов было развито исключительно, и тогда, в 1924 году, он впервые во всеуслышание заявил о себе как об организаторе эпоса.

Тризна похорон Сталина в марте 1953 года — неосознанный или полуосознанный развал эпоса: были трупы на Трубной площади, непотребная давка была, маячили фигуры зевак. А потом — еще одна тризна, и о ней-то речь в повести Головина, явственно ориентированной на демонтаж святая святых эпического мышления.

Ковши круговые, запенясь, шипят
    На тризне плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
    Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они,—

пишет Пушкин, давая нам классическую картину языческой тризны.

> «...Солдатики, шепотом подсмеиваясь друг над другом, оживленно рубали из жестяных плошек пшенную кашу с тушенкой, запивая компотом, которого по случаю знаменательного события было хоть залейся, сорокалитровая фляга...» — словно бы вторит классику Головин.

«Бойцы... р у б и л и с ь». «Солдатики... р у б а л и». «К о в ш и круговые...» «Сорокалитровая ф л я г а...» Имел ли писатель в виду «Песнь о вещем Олеге» или так уж, само у него получилось? Да и какой-то ветеран из превращенной в легенду брежневской 18-й армии мелькает однажды в повести: «вместе рубились». И вся повесть построена на поистине безгранично варьируемом мотиве пересмотра эпических ценностей, выворачивании их наизнанку. Впрочем, похороны Брежнева, эпика-неудачника, полководца-самозванца — только фон, на коем развертывается путешествие еще одного рабочего, работяги-провинциала Ивана Чашкина на похороны матери. И невзрачный этот русский мастеровой неожиданно становится в один ряд с эпическим витязем Любкиным; возникает в нашей литературе дуэт, диалог: Любкин — Чашкин.

Эпос нашего государства — это и воздушные перелеты, и морские плавания, и автопробеги (тут нельзя не помянуть «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, их пародии на автомобильную «Одиссею»). Был и эпос железных дорог: Турксиб, БАМ. И все эти виды эпизированных передвижений испытал на себе простодушный Чашкин: он и в поднебесье взмывал, и по стальным магистралям мчался, и автопробегов отведал; и все больше его из самолета, из поезда и из автомобилей высаживали. Выталкивали. Выпихивали. А он шел да шел к заданной цели. И достиг ее. И какой-то внутренней цели достиг он: в отличие от прямого предшественника своего, гомеровского Одиссея, морем ему странствовать не пришлось, но и море в повести все-таки есть. Как метафора: «Море ленивого равнодушия простиралось между» человеком и Богом, и в преодолении этого моря — сокровенный смысл небольшой, но знаменательной повести.

«Одиссеей» ее уже называли. Но хотелось бы дополнить оброненное словцо: это — истинная «Одиссея», разумеется, демонтированная. «Антиодиссея» с избитым, поруганным Чашкиным на месте хитроумного героя исконного эпоса.

Да, был эпос. И мы строили его сообща. Расставаться с ним трудно, и понятна по нему ностальгия. Но поймем же: эпос исчерпал себя. Мы вступили в романный мир, вдруг увидев в самой реальности обступивших нас со всех сторон романных, специфически романных героев: проституток и бездушных дельцов, политических демагогов и брошенных детьми матерей, безнадежных больных и наглых мошенников; тут ни дать, ни взять — не то роман Диккенса, не то Бальзака, не то наших, родимых художников слова, Гончарова, Боборыкина, Писемского и, конечно же, Достоевского. И напором романного мышления, романного видения мира размывается былое, эпическое.

Прощай, эпос? Жаль, если было бы так: эпос начисто отвергал роман, но роман не должен платить ему тою же мерой. Дать симфонию, синтез романного и эпического мышления, гармонизировать их — такова, вероятно, задача.

Кто возьмется решать ее?

1990

ИНТЕРВЬЮ С САМИМ СОБОЙ

Нынче мода на интервью.

Интервьюируют все: журналы, газеты, начиная с почтеннейшей «Правды» и кончая неведомо кем издаваемыми листками. Интервьюируют радио, телевидение. Интервьюируют всех: новоизбранного Прези-

дента и продавщицу мороженого, министров и сержантов милиции. Жестом матери, подносящей к ротику обожаемого малыша дефицитную соску, разбитные девицы и парни суют прямо в рот интервьюируемому палочку с шариком на конце, микрофоном: «Что вы скажете о?.. Что вы думаете в связи?.. Ваше мнение по поводу?..»

Всех интервьюируют, словом. А меня почему-то за-бы-ли: социальная несправедливость. Выход, впрочем, нашелся: я решил... проинтервьюировать сам себя. Я не исключаю, что таким же образом осуществляются и многие официальные интервью; только там государственному деятелю нужные ему вопросы задает сноровистый журналист. У меня же под рукой знакомого журналиста не оказалось. Я раздвоился и сам себе задал несколько любопытных вопросов.

Собеседник мой, понятное дело, хорошо меня знает. Ему ведомо, что я — литературовед, и вопросы, которые он мне задавал, в основном были ориентированы на мою профессию.

ВОПРОС. Со времени начала перестройки минуло пять лет. Появились новые художественные произведения, из небытия извлечены произведения, созданные ранее. Скажите, пожалуйста, какую книгу вы считаете наиболее актуальной?

ОТВЕТ. «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

Писатель дал этой книге подзаголовок: «Опыт художественного исследования». Но исследования, основанного на каком бы то ни было всеохватывающем методологическом принципе, там нет. И не надо! Жанр «Архипелага...» — трагическая панорама. Подобное в русской литературе намечалось: «Остров Сахалин» Чехова. Но там — остров, а здесь — целый архипелаг, явленный с двух точек зрения: изнутри и со стороны. Будто какой-то прожектор водит лучом по макету огромной державы, выхватывая из тьмы то одинокую фигуру, то группу, то целые толпы: идут-бредут, ведóмые конвоирами; лай собак, матерщина.

«Архипелаг...» — книга-подвиг.

Солженицын — не столько явление литературы, сколько дар судьбы. Удивительна, я бы сказал, укомплектованность его жизни; он испытал все, что положено испытать русскому человеку его поколения: война, заточение за колючую проволоку, балансирование на краю смерти в онкологическом госпитале, изгнание. Порознь эти удовольствия выпали многим. Кому и два, кому даже и три. Тут же — сразу все четыре грани квадрата. А еще говорят, будто «Черный квадрат» Казимира Малевича — плохая картина. Да чем же плохая-то? Жизнь страдальца-писателя — именно черный квадрат: квадрат — знак полноты, завершенности; а символику черного цвета объяснять не надобно. Читаем Солженицына, узнаем его биографию. Смотрим на «Черный квадрат» Малевича. Но никак почему-то не можем связать их, соединить. Узнать жизнь в произведении искусства и увидеть его проекцию в жизнь. А меж тем трагическая судьба Солженицына была предсказана Малевичем еще в 20-е годы:

многострадальная наша Отчизна вступала в такую полосу исторического бытия, когда идеально воплощенным олицетворением полноты уготованных смертному испытаний становился черный квадрат.

ВОПРОС. А Солженицын как художник?

ОТВЕТ. Как художник Солженицын очень несмел. Даже робок. Видимо, весь отпущенный ему потенциал, запас смелости ушел у него в смелость гражданскую. Честь ему и хвала, но такая смелость, смею думать, поверхностна; и основам тоталитаризма она не грозила.

Искусство — тип мышления. Новые формы в искусстве — симптом, предсказание обновления социального мышления вообще. И пуще всего тоталитаризм боялся какой бы то ни было эстетической новизны: в новом теплятся искорки индивидуальной свободы, реализуется стремление к творчеству. У Солженицына же нет эстетической интуиции. Дерзости. Дерзновения. Ввести в старомодно огромный роман кинокадры катящегося колеса — предел того, на что он отважился.

«Архипелаг...» — книга-необходимость. «Красное колесо» — со всею возможной старательностью оформленный трактат о том, какой была бы Россия, если бы не привнесенная в ход ее развития революция. Одной политике, «плохой», противопоставлена альтернатива другой, «хорошей» политики. Октябрю — октябристы, с позиций которых всем прочитаны нотации. Иногда появляется царь. И его, беднягу, романист вразумляет; а за кадром слышится вздох — извечный вздох русского человека, сокрушающегося о том, что он не царь: «Нет, уж если бы я был царем, я бы всем показал, как надо править империей!..»

А с тоталитарным режимом Солженицын бранится на его же языке, изъясняясь в его же понятиях. Что ж, он сын своего поколения — поколения, в сознание коего прочно вбиты истины типа: «Главное в искусстве — содержание... Народу нет дела до каких-то там литературных новшеств. Когда писатель творит, он не думает ни о жанрах, ни обо всем таком прочем, об эпитетах, скажем...»

ВОПРОС. А вы с этим не согласны?

ОТВЕТ. Мало сказать, что не согласен, я вижу здесь проявление полнейшей зависимости от навязанной нам псевдоэстетики. И, внемля подобным рассуждениям, Жданов и Суслов где-то в неведомых адских безднах должны просто-таки ликовать, перемигиваясь и злорадно хихикая: дело их не пропало!

Деморализации народа сопутствовала угрюмая деэстетизация всей его жизни. Дефилологизация.

Нам и в голову не приходит, что живем мы в некоем грандиозном художественном произведении, сообща создаваемом нами.

Да, страна жила в каком-то гигантском эпосе, слагаемом ею.

Но есть, скажем, малый эпос: басня. Или даже микроэпос: пословица. Мы заперли пословицу в книжки, в сборники, которыми надлежит умиляться: там-де — кладезь народной мудрости. Иногда мы уснащаем ими свои выступления и думаем, что мы ими как бы владеем. А вгля-

дишься, да и увидишь, что, пожалуй, это они, пословицы нами владеют. Наша грубая ошибка: мы почему-то считаем, что пословица обращена к ... одному человеку и только. Почему к одному? Почему мы и доныне не видим, что народ в пословицах обращает свое слово к истории, к странам и к государствам, предугадывая грядущее их состояние, уклад их жизни? И вся жизнь народа в течение полувека охватывалась пословицей: «От тюрьмы да от сумы не зарекайся!» Да, поистине только великий народ мог в такой лапидарной форме предречь свою долюшку: тут тебе и коллективизация (сума), тут тебе и ГУЛАГ (тюрьма). Или: «В тесноте, да не в обиде». О чем это? Да опять же о нас. И полвека мы прожили под сенью пословицы: теснота — ведущий мотив нашего быта. Теснота коммунальных квартир, общежитий, бараков. Несусветная теснота битком набитых тюремных камер, вагонзаков — «столыпинских» железнодорожных вагонов: тянулись на восток заключенные. Теснота оголодавших толп в магазинах. Где ее нет, тесноты? Начиная с родильного дома, где младенцев кладут едва ли не штабелями, и до братских захоронений. Словом, тесноту нам пословица насулила; и едва ли не вся наша литература в лучших ее образцах стала некоей летописью тесноты: коммуналки Булгакова, Зощенко, Эрдмана, Ильфа и Петрова, бараки Андрея Платонова. А взять неожиданно явленный нам роман Николая Нарокова-Марченко «Мнимые величины» — кстати, Солженицыным ни за что, ни про что мимоходом язвительно осужденный; там герои мечутся между поистине дьявольской теснотой коммуналки и такою же теснотою тюремных камер; разновидности тесноты там заведомо сходятся в некий единый образ, в образ стиснутого, стесненного со всех сторон человека. А уж насчет обиды... Тут, пожалуй, мы пословицу опровергли. Но я и не говорю, что мы всегда живем в соответствии с пословицей. Мы живем в диалоге с нею, на этом — настаиваю.

Теснота в метро, в автобусах и в троллейбусах. И в литературе сейчас теснота. Всего стало много: журналов, газет, мнений, выкриков. И пословица озабочена, она нам напоминает: не было бы обиды, обид.

ВОПРОС. Но при всей разноголосице пререканий, раздирающих нашу интеллектуальную жизнь, выделяется один вопрос, едва ли не наиболее драматический: Россия, ее призвание и различные силы, влияющие на ее судьбу.

ОТВЕТ. Кажется, я понимаю, к чему у нас клонится. И здесь надо высказаться с необходимой определенностью.

Без конца ведутся разговоры об особой роли России, об ее историческом призвании, ее миссии. Да, но в чем же она?

Призвание России в одном — в сохранении и в несении миру заветов Христовых. «Православие» — обязывающее понятие; и уж примем за аксиому: православие — наиболее цельный, наиболее совершенный мистический вариант христианства. Но тогда...

Бог, история, в общем, какие-то высшие силы здесь, в России, свели и поставили лицом к лицу два предания: иудейское, ветхозаветное и но-

возаветное, христианское. Спор меж ними, их диалог, начавшийся две тысячи лет тому назад, продолжается именно здесь.

Призвание евреев в России — призвание вопрошающее: «Мы отвергли Новый Завет. Предположим, что мы совершили роковую ошибку. Но тогда помогите же нам исправить ее. Покажите, явите нам христианство не только как умозрительный идеал, но и как повседневность! Как деяние, как образ жизни!» И наш долг, исторический долг заключается в том, чтобы внятно и корректно ответить на этот закономерный вопрос. На великое вопрошение.

Пользуясь привычной для меня лексикой преподавателя, я сказал бы, что диалог с ветхозаветной культурой — предварительный зачет, который должны мы сдать перед тем, как отправиться на экзамен: проповедовать наш вариант христианства во всемирном масштабе.

ВОПРОС. И зачет этот мы...

ОТВЕТ. Мы ведем себя как нерадивые и к тому же не лишенные плутовства студенты, безнадежные двоечники: ерзаем, подсказываем друг другу, подглядываем в шпаргалки. Величайший историософский вопрос переводим мы в плоскость пошлейшей борьбы за власть, на уровень бытовой экономики. Один — благо, он математик — скрупулезно подсчитывает, сколько евреев входило в состав ЦК в таком-то году; а другой на полном серьезе ответствует: но зато в последнем составе ЦК был всего лишь один еврей, да и тот Александр Борисыч Чаковский, многолетний редактор «Литературной газеты». Один тащит на свет Божий идиотские «Протоколы сионских мудрецов», приговаривая: «Видите, видите?..» А ему твердят, что протоколы эти — липа, полицейская фальшивка.

Но допустим — только допустим! — что глупейшие «Протоколы...» — какая-то подлинность и что это действительно некая программа агрессии. Но программа-то — убогенькая, мелкотравчатая. Составляли ее люди без воображения, без размаха; люди с кругозором мелких галантерейных торговцев, перемигивавшихся и уверявших друг дружку, что каждый из них необыкновенный мудрец. И неужто мы не сможем переспорить местечковых гешефтмахеров, составлявших ее? Переспорить их своим обаянием, трудолюбием, талантливостью, душевною щедростью, широтою? Господи, да откуда же такое неверие в свои силы!

Горько видеть, как Божий урок, нам заданный, мы не желаем исполнить: отлыниваем, откладываем на потом. А тем временем многозначительные подсчеты и криминалистические изыскания оборачиваются мерзким антисемитизмом. Он выплескивается на улицу, в тесноту все тех же коммуналок, трамваев. И выстраиваются очереди у посольств США, Канады, Новой Зеландии. Христианство же по-прежнему оказывается подчиненным политике, разве только в обновленных формах.

ВОПРОС. В сфере быта, в сфере общения у нас масса недоделок и неполадок. Что особенно досаждает вам?

ОТВЕТ. Явное, циничное чтение кем-то писем, приходящих ко мне из-за границы.

Побывал я в Швейцарии: читал лекции. Принимали меня сердечно. Завязались, естественно, добрые отношения. О многом меня продолжают спрашивать, простодушно надеясь получить возможно быстрый ответ: от этого зависят дипломные работы, диссертации. А ответ из Москвы приходит месяца через три-четыре.

Пользуясь случаем, я хочу во всеуслышание возгласить, что профессор Лоренцо Амберг из Цюриха, студентка Рут Видмер из Берна и я:

а) не составляем планов нападения Швейцарии на СССР,

б) не сбываем друг другу героина и марихуаны,

в) не ведем запрещенных законами операций со швейцарскими франками и рублями.

И так хочется верить, что заверения мои достигнут каких-то неведомых мне инстанций.

Интересно, а как получает зарплату тот, кто читает письма? Сдельно, с письма? И как называется эта профессия? «Читчик»? «Читальщик»? А может, по аналогии с «воображала», «меняла» и «вышибала» — «читала»?

ВОПРОС. Чувствуете ли вы, что в сложном процессе перестройки вы нашли свое место?

ОТВЕТ. Да, место свое я нашел.

Методология — то заветное, что мне удалось сохранить и развить в себе вопреки непростительным компромиссам во многом другом. У меня есть сложившийся метод исследования искусства, изучения жизни слова, его преломлений в социальной реальности и воздействия его на судьбы отдельных людей и народов.

Не знаю я, кто виноват в пережитом нами, да и знать-то не очень хочу. Но я знаю, в чем моя вера. Знаю, что делать.

Перестройка открывает перед искусствоведами и филологами возможности, о которых и мечтать немыслимо было. Упустить их было бы непростительно; значит, надо работать.

1990

СОДЕРЖАНИЕ

ТУРБИН Владимир Николаевич

ПРОЩАЙ, ЭПОС?

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 17.07.90. Подписано к печати 23.08.90.
Формат 70×108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,35.
Тираж 150000. Зак. № 2596. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.